

ДЖОН  
АПДАЙК



КРОЛИК, БЕГИ  
КЕНТАВР  
ФЕРМА  
ЯРМАРКА  
В БОГАДЕЛЪНЕ

Джон Апдайк

Ферма

Таким образом, когда я со всей убежденностью признал, что у человека существование предшествует сущности, что, свободный по природе своей, он в различных обстоятельствах может желать лишь своей свободы, я признал тем самым, что могу желать лишь свободы для других. Ж.-П. Сартр

Мы свернули с автострады на гудронированное шоссе, а потом с шоссе на красноватую грунтовую дорогу. Мы въехали на крутой невысокий пригорок, где стоял по колено в сумахе и жимолости почтовый ящик Шелкопфа с покосившейся крышкой, словно в шляпе, заломленной набекрень, и отсюда моя жена впервые увидела ферму. Сидя рядом со мною, она тревожно подалась вперед, а в спину мне уперся локоть ее сына, сидевшего сзади. С дальнего косогора, поверх зеленой впадины луга, смотрели знакомые постройки.

— Вон наша старая конюшня, — сказал я. — К ней еще был пристроен большой навес, но мать всегда говорила, что он портит вид, и в конце концов заставила его снести. Этот луг наш. Земля Шелкопфа кончается за теми кустами сумаха.

Мы с грохотом понеслись вниз по выветренному до песчаникового остова склону, преддверию нашей земли.

— И справа и слева от дороги все ваше? — спросил Ричард.

Ему было одиннадцать лет, он любил точность и разговаривал всегда несколько воинственно.

— Да, — сказал я. — Раньше все тут принадлежало нам, но мой дедушка продал Шелкопфу часть земли, когда собрался переезжать в Олинджер. Акров сорок примерно.

— А сколько осталось?

— Восемьдесят. Все, что отсюда видно, относится к нашей ферме. Это, пожалуй, самое крупное землевладение, еще уцелевшее так близко от Олтона.

— А никакой живности у вас нет, — сказал Ричард. Я ему раньше говорил, что нет, но в его тоне прозвучало осуждение.

— Только собаки, — сказал я, — и ласточки в конюшне и множество сурков. При жизни отца мать еще держала кур.

— Зачем тогда ферма, если на ней не хозяйничать? — спросил Ричард.

— Это уж ты у моей матери спросишь. — Он сразу замолчал, приняв мои слова как укор, хотя у меня не было намерения корить его. Я добавил: — Мне и самому это всегда было непонятно. Я был таким, как ты сейчас, когда мы переехали сюда. Нет, я был постарше. Мне уже минуло четырнадцать. Я всегда себя чувствовал моложе своих лет.

Тогда он спросил:

— А эти леса чьи? — И я понял, что он заранее знает ответ и хочет дать мне возможность погордиться.

— Наши, — сказал я. — Кроме того, что мы продали под полосу отчуждения двадцать лет назад, когда тут хотели вести линию электропередачи. Деревья тогда все повыврубили, а линию так и не провели. Вон, видишь, тянется полоска молодняка, там и была просека. С тех пор все уже снова заросло. Только вырубали дуб, а выросли клен и сассафрас.

— Зачем тогда полоса отчуждения, если отчуждать нечего? — спросил он и неловко засмеялся. Я был тронут: ведь он шутил над самим собой, быть может пробуя подражать моей манере, пробуя избавляться от недетской серьезности, навязанной ему годами безотцовщины.

— Так уж у нас дела делаются, — сказал я. Головоотяпски. Тебе хорошо, ты живешь в Нью-Йорке, где умеют ценить пространство.

Пегги вступила в разговор.

— Здесь, как видно, всего в избытке, — сказала она о ферме, об угодьях, стлавшихся вокруг нас, и откинула волосы со лба и щек — ее обычный жест, когда она чувствует, что ее слова могут вызвать возражение; мужчина в таких случаях засучивает рукава.

В самом деле, когда бы я ни вернулся сюда, даже после самой долгой отлучки, эти акры земли, разбегающиеся во все стороны, вызывали во мне что-то, похожее на хвастливость. Моя жена учуяла это и, так как она стала моей женой совсем недавно, усмотрела тут недостаток, который нужно исправить. Мне было мило в ней это стремление исправлять недостатки (Джоан, моя первая жена, никогда во мне ничего не осуждала, оттого казалось, что она осуждает во мне все), но я со страхом думал о том, как к этому отнесется моя мать. Когда-то Джоан по простоте души заикнулась, что надо бы матери завести стиральную машину. Ей этого так и не простили. И сейчас, в последние считанные минуты перед надвигающейся встречей с матерью, меня неудержимо тянуло говорить о ней, поскорей выговорить все то, чего потом уже нельзя будет сказать вслух.

— На ферме есть трактор, Ричард, — сказал я. — К нему прицепляют вращающийся вал с ножами, чтобы косить траву. В Пенсильвании такой закон: если у вас на ферме земля под паром, вы обязаны два раза в лето косить траву.

— Что значит «земля под паром»?

— Сам хорошенько не знаю. Земля, на которой ничего посеяно.

— А кто водит трактор?

— Моя мать.

— Так и надорваться недолго, — жестко сказала Пегги.

— Она это знает, — не менее жестко ответил я.

Ричард спросил:

— А можно, я буду водить?

— Не стоит. Здесь иногда мальчики водят трактор, но это опасно, можно... — Я хотел сказать «остаться калекой», но удержался; один мой сверстник в детстве сломал шейку бедра, и мне

вдруг вспомнилось, как он странно хромал, словно закручиваясь при каждом шаге. —  
...можно пораниться.

Я ждал, что он будет настаивать, но его уже заинтересовало другое.

— А это что? — В густой зелени мелькнули розоватые развалины. — Здесь когда-то был сарай для сушки табака.

— Сделать крышу, так можно бы устроить гараж.

— Он сгорел лет сорок назад, когда у фермы был другой хозяин.

Пегги спросила:

— До того, как твоя мать снова ее купила?

— Не надо так говорить. Она теперь уверена, что это было желание отца.

— Джой, я боюсь!

Ее восклицание пришлось на паузу, когда мое внимание было поглощено дорогой, круто огибавшей в этом месте гору. Если бы навстречу шла на большой скорости другая машина, ее бы не было видно до последней минуты, и легко могло произойти столкновение. Но я тысячи раз делал этот поворот и ни разу ни с кем не столкнулся, хотя местные парни обожали носиться на своих драндулетах мимо наших границ, дразня собак и приводя мою мать в бешенство. А по ночам они часто, включив фары, гонялись на пикапе за оленями.

Уже смеркалось. Я благополучно обогнул конюшню, затормозил у заросшего травой въезда и сказал Пегги:

— Не надо. Я ведь и не жду, что вы с ней сойдетесь. В свое время я думал, она ласково примет Джоан, но вышло иначе.

— У меня еще меньше надежды понравиться ей.

— Не думай об этом. Будь просто такой, как ты есть. Я люблю тебя.

Но это признание было сделано наспех, и так же наспех я похлопал ее по бедру — впереди уже завиднелась фигура моей матери, темным, зыбким пятном отделилась от дома и поплыла к нам под синей тенью высокой тсуги, сторожившей подъезд. Из-за этого дерева в доме всегда рано темнело; сколько раз я мальчишкой подбегал к окну, уверенный, что уже ночь на дворе, и, к удивлению своему, видел, как на крыше конюшни слитком драгоценной руды лежит еще солнечный свет. С виноватой поспешностью я распахнул дверцу машины и, замахав рукой, крикнул матери:

— Приве-ет!

— Привет, странники! — откликнулась она с легкой иронией, едва различимой на странном акустическом фоне, созданном внезапным молчанием мотора и шипением воздуха в пневматических тормозах.

Меня поразило, как медленно мать идет по аллее. Сколько раз она на моих глазах обгоняла отца, спеша от конюшни к дому под хлынувшим внезапно дождем. Теперь ее донимала грудная жаба и — хоть она никогда не курила — эмфизема легких. Все силы она положила на покупку этой фермы и переезд сюда всей семьей, а между тем, по словам врача, у нее были легкие закоренелой горожанки. В защиту от августовской сырости она надела мужской, дедушкин еще, серый шерстяной жилет ребристой вязки, сверху донизу застегнутый на

пуговицы, а из-под жилета виднелась старая розовая блузка, напомнившая мне детство и пасхальные праздники. К нам бросился щенок колли, единственная из собак фермы бегавшая на свободе; залаял, оцетинился, остановясь в нескольких шагах от рыбьей морды нашего «ситроена», потом вскачь понесся назад, к моей матери. Он сердито кидался и тьякал на нее за то, что она так нестерпимо медленно двигается; светлая грудка и светлый кончик хвоста мельтешили в тени на газоне. Газон весь зарос подорожником, его давно пора было подстричь.

Пока мы с Ричардом доставали из багажника чемоданы, Пегги нервно заторопилась матери навстречу, и я с опаской подумал, не обидит ли мать эта бессознательная демонстрация молодого здоровья. В дробном стуке высоких каблуков Пегги по каменным плитам было что-то нетвердое, неустойчивое. Я словно смотрел на нее глазами моей матери и видел высокую покрашенную женщину, искавшую во мне опоры, — но в то же время смотрел и собственными глазами вслед удаляющейся белой юбке, мерцающая белизна которой была центром, средоточием моей жизни. Моя жена не толстая, но сложена крупно, у нее мягко покатые плечи и широкий таз, что придает ее походке веселящую четкость, впечатление простора в бедрах; а меня словно теплом окатывает, когда я на нее смотрю.

Женщины поцеловались. Они уже виделись однажды, в день нашего бракосочетания, хоть я тогда уговаривал мать, чтобы она не приезжала. Церемония состоялась через неделю после того, как был окончательно оформлен мой развод с Джоан, в комнате городского судьи, отца моего давнего приятеля. Здание было допотопное, с лифтами в проволочных клетках и длинными, выстланными коричневым линолеумом коридорами, куда выходил ряд дверей с матовыми стеклами, похожими на двери уборных. День был июньский, жаркий. Окна были по старинке раскрыты, и в комнату вливался шум с Ист-Ривер. Меблировка этого юридического святилища, включавшая деревянную скамью, на которой сидела моя мать, выглядела случайной и скудной на его старомодном просторе, словно этих неодоушевленных пережитков далекой судейской эры коснулся тот же неумолимый процесс вымирания, которому подвержено и человечество. Мать держала в руках маленький полотняный платочек и то складывала, то расправляла его на коленях, то вдруг, будто ужаленная, торопливо прижимала к шее. Я боялся, что ее присутствие покажется вопиюще неуместным на этой брачной церемонии, но мы там все были не очень-то на месте: и подросток — сын новобрачной, и супружеская чета с Парк-авеню (жена, сухопарая особа с бельмом на глазу, исполняла роль подружки Пегги), и веснушчатый малый, мой сослуживец, экс-олимпийский чемпион по лыжам и экс-поклонник Джоан, приглашенный мной в шаферы за неимением лучшего кандидата, и папаша Пегги, краснощекий вдовец, директор универмага в Омахе, и, наконец, кадыкастый студент-теолог, племянник моей первой жены, нагрянувший неожиданно вроде как бы делегатом от Джоан и моих детей, которые находились в то время на даче родителей Джоан на каком-то озере в Канаде. В столь причудливом сборище моя мать нисколько не выделялась. Судья, славный старичок альбинос в полотняном костюме в полоску, был с ней очень любезен. Протянув к ней темные узловатые руки с хваткими пальцами рабочего, он заботливо усадил ее на скамью, словно подшил к делу объемистый документ. Она долго оглаживалась и дышала часто и громко, как запыхавшаяся собака. То, что она приехала вопреки моим уговорам — приехала на автобусе, которого в Филадельфии час пришлось ожидать, — показалось теперь героическим усилием преданной матери, и я был ей благодарен. О том, что она здесь, я помнил даже в кульминационный момент церемонии, краешком глаза видя, как порозовел твердый подбородок Пегги и опустились темные лучи ресниц, когда ее профиль склонился к вздрагивающему букету фиалок, приколотому на груди. Она где-то прочла, что невесте, уже побывавшей замужем, не положены белые цветы, и с утра звонила по всем цветочным магазинам Нью-Йорка, задавшись нелегкой целью раздобыть в июне фиалки. И я вдруг подумал о ней, о моей невесте, как о женщине средних лет, несмотря на чистый девичий профиль, — подумал о том, что мы с ней стоим беззащитными новичками на середине широкого пути, у реки, чересчур полноводной для своих берегов. А в раскрытом окне, за плечами судьи, уже

облаченного в мантию, выгнутая где-то далеко внизу река медленно катила флотилии крошечных суденышек, и Бруклин, прошитый подъемными кранами, мерцал миражем под высоким предвечерним небом; легкий ветерок залетал в окно и шевелил бумаги на официально бесстрастном дубовом столе. Вокруг спутанного электрического шнура носилась одинокая муха. Но вот прозвучали слова брачной присяги, и я как будто упал, рухнул наконец в твердую глубь чего-то, слишком долго мучившего меня своей незавершенностью. Я повернулся, выслушивая поздравления, принимая и возвращая поцелуи немногим, кто вместе со мною забрался на эту высоту, и меня неприятно поразил враждебно отчужденный взгляд моей матери и холод ее щеки в такой жаркий день.

А сейчас, целуя ее, я почувствовал, что лицо у нее горит, хотя было прохладно. Осень, всегда более ранняя вдали от побережья, уже давала о себе знать и запахом паданцев во фруктовом саду, и прежде всего лиловатым оттенком сгущавшихся сумерек, атмосферой угасания. Над лугом висела полоска тумана — там, где сочилась крохотная речушка, почти ручеек, полузадушенная осокой и водорослями. Летучая мышь, точно сгусток страдания, металась туда-сюда в перепончатой сини между верхушками деревьев. Наспех прикоснувшись к Пегги, мать словно для контраста положила мне одну руку на плечо, другой взяла за локоть и долго не снимала.

— Очень устали? — спросила она. Подразумевалось, что у меня усталый вид.

— Нисколько, — сказал я. — Мы как вихрь промчались через мост и успели съесть по бифштексу в Нью-Джерси.

— Я вовсе не говорю, что у Пегги усталый вид, — торопливо вывернулась мать. — Пегги всегда — сама бодрость и свежесть.

Ее голос возникал словно где-то неглубоко — не в легких, а в горле или даже во рту — и, не связанный с основой ее существа, звучал слегка натужно, но все-таки певуче. Было что-то ироническое в этой певучести ее голоса и в манере держаться, отводя назад плечи, словно чтобы увеличить емкость легких, — какая-то пародийная нарочитость, может быть рассчитанная на то, чтобы мы не догадались, как она себя чувствует на самом деле.

У Пегги сразу потемнело лицо, но она храбро заставила себя улыбнуться и сказала:

— Это только так кажется.

— Все равно смотреть приятно, — сказала мать.

Я взял Пегги под руку и хотел ввести ее в дом, но она отстранилась, давая дорогу Ричарду, который в это время подошел сзади. Я про него совсем забыл. Он настоял на том, чтобы нести чемодан с платьями Пегги, самый тяжелый. Перехватив его левой рукой, он протянул правую моей матери.

— У вас завидная ферма, миссис Робинсон, — сказал он. Недлинные фразы ему удавалось произносить солидно-басовитым голосом.

— Спасибо на добром слове, дружок, — сказала мать. — Но ты ведь ее почти не видал. Я думала, твои родители сумеют добраться засветло и можно будет еще пойти погулять до вечера.

— А мы завтра с утра пойдем, — сказала Пегги. — Я давно об этом мечтаю.

— Я должен заняться косью, — сказал я, мысленно гадая, меня ли одного кольнуло неточно употребленное моей матерью слово «родители».

Мать сказала:

— Бедный Джой. Такой совестливый.

— Мне и то, что я видел, очень понравилось, — заверил ее Ричард голосом, снова соскользнувшим в мальчишеский дискант. — Мы проезжали разрушенную постройку, ее легко можно оборудовать под гараж на две машины.

— Это он о табачной сушилке, — пояснил я. — Где я собирался держать мячи и клюшки, когда мы из фермы сделаем поле для гольфа. — Это была старая семейная шутка, придуманная еще при жизни отца. Смысла ее я никогда хорошенько не понимал, но нарочно вспомнил ее сейчас, чтобы прикрыть наивность моего пасынка.

Мать внимательно всмотрелась в него, потом с деланным ужасом воскликнула:

— Да ведь там самые лучшие кусты ежевики!

Мы все засмеялись, благодарные ей за эту попытку хотя бы на миг разогнать хмурь, не покидавшую ее с тех пор, как она начала прихварывать. Ее ум приобрел смущающую силу, мрачную остроту, особенно гнетущую здесь, на воле — как будто, попав на территорию ее фермы, мы были сразу ввергнуты в недра ее раздумий.

Все тем же медленным, может быть, чуть подчеркнуто медленным, шагом мать повела нас к дому. В любой мой приезд домой, начиная с первых студенческих каникул почти двадцать лет назад, всегда настаивала такая минута, в которой, как в фокусе, сходились все мои ощущения; так было и сейчас, стоило мне ступить на шершавое каменное крыльцо черного хода под ликующе-яростный лай собак, запертых в сарайчике по соседству с увечным кустом бирючины — этот куст когда-то прободал сорвавшийся с привязи бык, которого моя бабушка укротила потом с помощью фартука. В то лето наш луг арендовал под коровий выпас фермер-менонит, и этот бык, большое животное ржавой масти, принадлежал к его стаду. Поломав расшатавшуюся в уголке за беседкой изгородь, он пронесся по двору фермы, боднул с размаху круглый маленький ярко-зеленый куст и стал перед ним как вкопанный, храпя и мотая головой, точно силясь унять назойливый гул в ушах. Мы все с криком забились в кухню и заперлись там, только бабушка ринулась спасать свой куст, который саженцем привезла из милого ее сердцу олинджерского сада; размахивая фартуком, она ругала быка той самой грозно шипящей скороговоркой, которой, бывало, осаживала навязчивых коммивояжеров, а тем временем подросли батраки менонита с веревками. Куст выжил, но тяжесть снега с каждой зимой разводила все шире уцелевшие половинки; так он и рос, на две стороны.

Мы вошли в кухню. Теплые потемневшие от времени стены прятались в полумраке. Сколько я себя помню, у нас вечно недоставало лампочек или ввертывались слишком слабые. Мы были экономны в мелочах и расточительны в крупном. За минувшие годы все комнаты небольшого толстостенного дома причудливо изукрасились, пестро расцветились моими подарками. Сочельники, дни рождений, семейные торжества и Дни матери устали подоконники и полки датской оловянной посудой, мексиканской керамикой и итальянским стеклом, которые я, большей частью наспех, в последнюю минуту, слал по почте из Кембриджа и Рима, Беркли и Нью-Йорка. Я вдруг ясно почувствовал, как дешево стоили в качестве заменителей моей любви и моего присутствия все эти подчас довольно дорогие дары — как будто за хорошо знакомой дверью, где я думал встретить свою суровую юность, оказалась лишь радужная пена моего ничтожества. С каждым своим приездом я все острее сознавал, какая большая часть меня навсегда осталась здесь. В гостиной повсюду висели и стояли мои фотографии: я в день получения диплома (первого, и второго, и третьего), я в день свадьбы (первой), я забавляюсь со своими детьми на солнечной лужайке, я деревянно тарашу глаза с пожелтелой газетной вырезки, помещенной для сохранности в пластиковый

футляр, — все это попеременно с наградами и почетными грамотами, полученными за успехи в учении. Реликвий моей жизни было так много, что казалось, я давно умер и похоронен. А вот моего отца нигде не было видно, и от этого он казался живым, хотя и отсутствующим; он ненавидел сниматься, и в ежегоднике школы, где он учительствовал, тридцать лет подряд появлялась одна и та же не слишком лестная фотография. Я так и видел, как он увертывается от объектива, ворча: «Моей рожей только пленку портить». Мне чудилось: вот-вот зашаркают на крыльце его шаги, и рука с ненужной силой рванет дверь, как он это делал всегда, словно ожидая, что она окажется запертой. Я бы ничуть не удивился, если бы он вдруг вошел в гостиную, держа в руках свой обычный вечерний гостинец — запотевшую коробку с мороженым трех сортов, и, глянув на меня полулукаво-полугрустно, как всегда, повернулся бы к моей матери и сказал: «А мальчик неплохо выглядит», а потом бы повернулся к моей жене и сказал: «Ты, видно, знаешь, чем его кормить».

Но этого не произошло, нас оставалось четверо. И еще чье-то отсутствие можно было заметить на стене. Над диваном с подушками, облепленными собачьей шерстью, рядом с моим портретом двенадцать лет висел парный к нему портрет Джоан, тоже снятый в Олтоне вскоре после нашей свадьбы, когда обоим нам было по двадцать с небольшим. Мать уговорила с фотографом без нашего ведома, и мы были очень раздосадованы этим. Такой сентиментальности я от нее не ожидал. Я все еще смотрел на нее глазами ребенка, которому повседневная близость матери кажется неотъемлемой от его бытия. Но у нее страсть к вещественным напоминаниям обо мне возникла раньше, чем я понял, что уже оторвался от дома. Мы послушно влезли в машину и в самую жару покатали за десять миль в Олтон, чтобы не нарушить уговора. Джоан, словно в знак пренебрежения к этой затее и в то же время в знак уверенности в своей молодой красоте, надела простое ситцевое платье, наряд, который подошел бы батрачке с фермы, принесшей ягоды на продажу: с блеклым узором из мелких голубых цветочков по желтому полю и большим квадратным вырезом, как бы невзначай выставлявшим напоказ ее точеную шею и плечи. Получив пробные снимки, мать выбрала для увеличения тот, на котором Джоан, как цветок, поворачивающийся к солнцу, вся будто тревожно тянулась навстречу какому-то дальнему зову — бывали у нее такие минуты, и фотограф сумел подловить одну из них. Портрет был в три четверти роста, она стояла у кресла, опершись на сиденье невидным на снимке коленом и так крепко сжав выгнутую спинку руками, что тонкие косточки обрисовались под кожей. Руки у нее были красивее, чем у Пегги. Держалась она очень прямо, вытянув правую руку, нежную и округлую, на всю длину и повернув лицо вполоборота к свету, падавшему так, что только угадывалась недовольная гримаска на губах. Но напряженность позы и нерезкий фокус не могли скрыть стремительную грацию ее тела, природную грацию, слегка затушеванную сдержанностью манер, упрямой застенчивостью, которую порой вдруг начисто опровергала, перечеркивала ослепительная, совершенно симметричная улыбка. Фотография была с секретом. Джоан снималась уже беременная. Семь месяцев спустя на свет появилась Энн, наша старшая дочь. Но, переплетаясь с этой давней тайной, за картиной, запечатленной здесь, передо мной вставали другие, бережно хранимые памятью картины: Джоан сердито натягивает на себя желтое платье, мы катим в Олтон душным летним днем, и это так напоминает наши томительные приезды на ферму в первое время: розовое облако пыли, встающее над дорогой за каждой машиной, мороженое, которое отец приносит с собой, навоевавшись за день с учениками, мою юношескую нежность, растерянно мечущуюся от матери к жене — а между ними уже ощутим глухой разлад. Очень характерно для их отношений, что фотография все-таки вышла не такой, как хотела мать. Много лет спустя она говорила Джоан: «Я хотела иметь перед глазами твою улыбку».

На этом месте над диваном, не заполнив собой предательский прямоугольник, где обои сохранили свой цвет, висел теперь идиллический пейзажик, значительно уменьшенная репродукция с работы неизвестного художника, украшавшая мою детскую комнату, когда мы жили у дедушки с бабушкой в их городском доме. Я сразу же — нарочно, чтобы мать видела и почувствовала в этом упрек, — подошел и внимательно стал рассматривать репродукцию.



Лиловая тень чего-то невидимого рассекала по диагонали трапециевидную стену высокого амбара, рядом над густой, неправдоподобно зеленой травой возвышалось безлистненное дерево неопределенной породы. А за ним, в глубине, меня встретило знакомое диковинное небо, состоявшее из горизонтальных полос разных оттенков, — когда-то оно мне представлялось мостками из цветных карандашей, по которым я будто хожу вниз головой. Между двух разноцветных борозд был воткнут в это небо крохотный черный угольничек, изображавший летящую птицу, и мне представлялось, что, если бы просунуть пальцы сквозь стекло, можно выдернуть его, как морковку, за хвостик. Позже, когда мы перебрались на ферму, странную эту картинку, окно в какой-то сказочный сельский мир, повесили в комнате под крышей, где я жил подростком и где потом, после моего отъезда, поселился отец. Поднимаясь по лестнице с Ричардом, я со страхом думал, что вот сейчас войду, а отец спит на кровати, прямо под лампой, свет которой бьет ему в глаза, а на груди у него распластался журнал в скользкой глянцевитой обложке. Но кровать была пуста; зато, когда я укладывал Ричарда спать, я обнаружил, что мать не спрятала портрет Джоан, а просто поменяла его местами с пейзажем. Джоан теперь висела на моей стенке.

— Кто это, такая красивая? — спросил Ричард. Я было хотел ответить, но слова вдруг застряли у меня в глотке, как будто его незнание в лицо той, чье место заняла его мать, было чем-то драгоценным, что я обязан был сберечь. Я прижал к себе большую вихрастую, давно не стриженную голову — мне не хотелось, чтобы он заглянул мне в глаза, а когда наши взгляды все-таки встретились, я проямлил:

— В этом доме все слишком полно мной.

Я отвел Ричарда спать только после того, как мы поужинали и вволю наговорились. Мать, не зная, сытые мы приедем или голодные, приготовила настоящий пенсильванский ужин с традиционным меню: свиная колбаса, капуста с перцем (вспомнив мое давнее и уже забытое мною пристрастие, она сберегла для меня в виде лакомства очищенную кочерыжку, холодную на вид и обжигающую на вкус), яблочное пюре, сладкий пирог и декофеинированный кофе, не вредный для ее сердца. Пегги и Ричарда даже смутило все это золотисто-коричневое изобилие. Ричард вежливо отказался от второй порции пирога, чем немало меня удивил — в его годы я бы не остановился и на десятой, только бы дали. Мать хотела налить ему кофе, но Пегги сказала, что он кофе никогда не пьет.

— Никогда?

— Прошлым летом я ездил с папой в Адирондакские горы, так там мы пили, потому что гущенное молоко было очень невкусное.

— Да, и домой ты вернулся больным, — сказала Пегги.

— Это кофе без кофеина, — сказала мать и налила ему полчашки. Кофейник в руке, привычная, уютная поза возле привычного, уютного обеденного стола — все это настраивало ее на разговор; у нас в семье, когда еще была семья, любили разговаривать за столом. — Я, кажется, начала пить кофе с трех лет, — сказала она. — Так и вижу, как я сижу на высоком стульчике — на том самом месте, где ты сейчас сидишь, Пегги, — а передо мной большая чашка черного кофе. Не знаю, о чем думала моя мать, но вообще в те времена никто особенно не разбирался, что можно, а чего нельзя, а мой отец молока не признавал. Он до самой своей смерти выпивал по десяти чашек кофе в день, черного-пречерного и такого горячего, что другой бы не вытерпел. Прямо с огня и сразу в рот. Он этой своей способностью очень гордился. Когда-то, Ричард, гордились такими вещами.

Ричард взялся за чашку рукой и, словно бы это привело его в непосредственное соприкосновение с моей матерью, смело попросил:

— Миссис Робинсон, расскажите мне про вашу ферму.

— Что ж тебе про нее рассказать? Ведь, наверно, ты уже слышал от Джоя, — она запнулась, чувствуя, что в разговоре с моим пасынком следовало бы называть меня как-то иначе, но не знала как, — ты уже слышал все, что тебе может быть интересно. — Она искоса глянула на меня и продолжала: — Впрочем, не знаю. Наверно, он не любит разговаривать о ферме. Она всегда наводила на него тоску.

— Ваш отец — вот тот, что пил такой горячий кофе не обжигаясь, — он что же, продал ее кому-то? Я никак не разберусь.

Мать сложила руки на столе и подалась вперед с озабоченным видом — поза, которую она неизменно принимала, желая успокоить дыхание.

— Мой отец, — сказала она, — был похож на моего сына: на него тоже ферма наводила тоску. Слишком много его заставляли на ней работать в молодости, и, когда ему было столько лет, сколько сейчас... — она пристально глядела на меня, все пытаюсь подыскать мне название, — моему сыну, он ее продал и переехал со всей семьей в город, так что

он, — она указала на меня, — вырос уже городским жителем.

— А чем ваш отец занимался в городе? — спросил Ричард.

— Вот в том-то и загвоздка. Ничем он там не занимался. У него не было никакой профессии, а для человека, не имеющего профессии, что же можно придумать лучше фермы? Он сидел себе в кресле и попивал кофе, пока все его деньги не ухнули во время биржевого краха.

— Мой папа говорит, теперь уже никогда больше не будет биржевых крахов.

— Что ж, дай бог. Хотя тут, как часто случается, беда была не без пользы. Отец вроде бы сделался пообходительней, а то при деньгах он уж чересчур был колючий.

— Ричард очень привязан к своему папе, — сказала Пегги и пригладила сыну волосы надо лбом.

Мне это замечание показалось довольно неуместным; дело в том, что она усмотрела в словах матери намек, которого на самом деле не было. Мать всегда любила своего отца, а «колючесть» в людях была для нее скорей достоинством, чем недостатком. Со стороны Пегги глупо было этого не почувствовать; и потом, признаюсь, меня раздражала ее неизменная манера заступаться в присутствии Ричарда за человека, с которым она развелась пять лет назад, — как раздражает любое движение души, выродившееся в условный рефлекс. Впрочем, она имела основания нервничать: у моей матери есть опасная склонность в общении с детьми не делать скидки на возраст. Помню, раз в этой самой кухне мой сын Чарли, которому тогда было два года, бегал вокруг стола, размахивая складной линейкой, и нечаянно ударил мою мать. Она тут же, не раздумывая, вырвала у него линейку и пребольно вытянула его по спине. Так и вижу, как она держит в руках эту линейку — оранжевую, с клеймом олтонской скобяной лавки — и под рев малыша, укрывшегося в объятиях Джоан, доказывает, что он с самого утра искал, чем бы ей досадить, «по глазам было видно». Подобно язычникам, приписывающим равнодушной вселенной враждебные умыслы, мать суеверно наделяла все существа одушевленного мира, вплоть до младенцев и собак сложностью побуждений, едва ли возможной для них на самом деле, — и при этом, как все истинно верующие, умела находить вокруг себя подтверждения своей правоты.

— И хорошо, что привязан, — спокойно сказала она и, вздернув голову, уставилась на Пегги сквозь нижние половинки своих бифокальных очков. — А что тут, собственно, удивительного?

Я вздрогнул, чувствуя, что Пегги не оставит этого без ответа, но тут Ричард, у которого глаза блестели, как у замороженного — у лягушонка или оленя, который на самом деле прекрасный принц, — по счастью, вернул мою мать к продолжению ее рассказа.

— Как же вы опять купили ферму, если у вас не было денег?

— Мы продали дом, — сказала мать, — городской наш дом, где

он родился. Уже после войны. Видишь ли, Ричард, сначала был кризис, и все разорились, кроме Бинга Кросби, а потом началась война, и тогда все нажились, даже школьные учителя, все, кроме тех, кого убили на фронте.

— А кто такой Бинг Кросби?

— Знаменитый исполнитель песенок. Тогда была в ходу такая шутка.

— Понятно, — сказал он и улыбнулся степенной улыбкой. Между передними зубами у него был широкий просвет, что чаще всего встречается у веснушчатых, но на его тонкой розовой коже, унаследованной от отца, веснушек не было.

— К концу войны нам с мужем удалось кое-что отложить — он себе находил работу в летние месяцы, а я, вообрази, кроила парашюты на фабрике, и тут как раз мы узнали, что наша ферма продается. Пошла я к одному старику, с которым всегда советовалась в затруднительных случаях. Даже насчет того, чтобы завести ребенка, спрашивала его совета, так как вообще считалось, что это для меня опасно. Он мне тогда сказал: «Тот мертвец, в ком кровь не течет». Я это поняла так, что в семье непременно должны быть дети, а иначе род прервется, вымрет. И я родила Джоя — на удивление своим теткам, которые никак не могли в это поверить. Они думали, у меня что-то не в порядке. Вот когда я рассказала этому старику, как мне хочется купить ферму, он мне ответил: «Есть такая испанская поговорка: что по сердцу, то и по карману». И я купила.

Мы все помолчали, думая о цене этой покупки. Потом Ричард спросил:

— Вашему мужу нравилось хозяйничать на ферме?

Все во мне так громко закричало «нет!», что я сказал, желая заглушить этот крик:

— Он на ней не хозяйничал.

— Он на ней не хозяйничал, — повторила мать. — Это верно. Но он купил мне трактор, чтобы я могла косить траву. Он был насквозь горожанин, как и ты.

— Зачем тогда ферма, если на ней не хозяйничать? — спросил Ричард, следуя полученному от меня совету.

Я подумал, что теперь уже заглушить ничего не удастся, но мать, против ожидания, приняла вопрос благосклонно и еще больше вытянула вперед голову над сложенными на столе руками, чтобы набрать в легкие побольше воздуха для ответа.

— А правда, — торопливо произнесла она, — наверно, в том все и дело, что никто не хозяйничает на этой ферме. Земля как люди, ей требуется отдых. Земля, она совсем как человек, только что никогда не умирает, просто устает очень сильно.

— Нельзя сказать, чтобы мы совсем уж не хозяйничали тут, — заговорил я, обращаясь к Ричарду, чтобы дать передышку натруженному голосу матери. — Иногда мы скирдую сено и продаем его, как-то раз сдавали верхнее поле в аренду одному менониту под посев кукурузы, разводим овощи, было время, даже торговали клубникой.

— Да, — подхватила мать, круто повернувшись к Пегги, — было время, этому молодому джентльмену, набитому гарвардской премудростью, и его утонченной бостонке жене приходилось по воскресеньям расставлять у шоссе козлы с широкой доской и продавать ягоды проезжающим!

Странно было, что вдруг Джоан и какая-то прежняя часть меня самого вплелись в творимую матерью легенду о ферме.

— Нас это ничуть не смущало, — сказал я как бы для того, чтобы приблизить себя к живой действительности и к той жене, которая не помогала мне торговать клубникой.

— Вас это приводило в ярость, — решительно заявила мать. — Вы всегда боялись, что к вам никто и не подойдет. — И добавила, в объяснение Пегги: — Сам он клубники не ест, вот ему и не верилось, что могут найтись на нее охотники.

— Теперь он ест клубнику, — заметила Пегги.

Мать оглянулась на меня.

— Правда ешь?

— С мороженым, — сказал я.

— А кто был этот старик? — спросил Ричард.

Мать заморгала глазами.

— Какой старик?

— С которым вы советовались насчет всяких своих дел.

— А-а! Ну, эта история, пожалуй, не для твоих ушей. Как тебе кажется, Пегги?

— Я не знаю, о чем идет речь.

— Видишь ли, Ричард, это один старый наш родственник, дядя Руп его звали. Говорят, он когда-то очень хорошо относился к моей матери. И даже, говорят, продолжал к ней так относиться, когда уж вроде это было и ни к чему. Во всяком случае, я всегда оставалась его любимицей, так что, может, и в самом деле что-то здесь кроется. Он единственный, кто меня считал даже хорошенькой.

— Это очень странно, — сказал Ричард.

Мать посмотрела на него испытующе, но блестящие глаза и написанная на лице неподдельная заинтересованность казались достаточно надежной гарантией. Она сказала:

— Я и сама так думала.

Пегги, замершая было в минуту опасности, перевела дух и сказала:

— Ричард, тебе уже час назад следовало быть в постели.

— Мне совсем не хочется спать, — ответил он. Наверно, это от перемены климата. Может быть, высота имеет значение. На Эвересте, например, люди вообще почти лишаются сна.

Я спросил мать:

— Ты не выбросила мои старые сборники научно-фантастических рассказов? Ричард как раз

начал увлекаться научной фантастикой.

— Это читаешь с таким приятным страхом, — сказал он.

— Все где было, там и есть, — ответила мне мать усталым голосом, в котором притаилась нотка непонятной досады.

Я подошел к окну, выходящему в сторону конюшни, которая сейчас тускло маячила на фоне ночного неба, загораживая звезды; под окном тянулись полки, где книги стояли и лежали вперемешку, и там, под романами Торна Смита и П. Дж. Вудхауза (когда-то они мне казались смешными, а сейчас одним видом своих истрепанных, старомодных обложек воскресили пыльную скуку тех бесконечных летних дней, когда я ждал получения водительских прав, открывавших мне путь к спасению от фермы), — о чудо! — были целехоньки все пухлые, жухлые томики серии, выпущенной в сороковых годах издательством «Даблдэй». Под разрушительным действием времени выцвели не только корешки, но и края переплетов, где их не прикрывала соседняя книга. С помощью этой убогой взятки я увел Ричарда наверх. «Не забудь вычистить зубы», — крикнула Пегги вдогонку. Я подоткнул ему одеяло, подложил лишнюю подушку под голову и ушел, чувствуя на губах вкус зубной пасты от его поцелуя. Лампу я оставил включенной у изголовья — старую настольную лампу с вырезанным зубчиками бумажным абажуром, под которой, бывало, мирно спал мой отец, хотя свет бил ему прямо в глаза. Я ее нашел в углу, где она стояла без дела, обвитая паутиной.

Внизу женщины мыли посуду. Мне с особенной ясностью, благодаря только что виденному портрету, вспомнилось, как Джоан систематически обижала мою мать своей чрезмерной готовностью помогать ей по хозяйству. Мать была невероятно чувствительна ко всему, что могло быть истолковано как попытка ее вытеснить, — может быть, оттого, что в свое время таким попыткам свирепо сопротивлялась ее мать, властвовавшая на кухне до самой смерти, а умерла она семидесяти девяти лет. Но я увидел, что командный пост у раковины захватила Пегги, а мать лишь покорно подносит ей грязную посуду и убирает вымытую. Это не была кажущаяся покорность; в окружавшей мать атмосфере — а к малейшим колебаниям в этой атмосфере я более чувствителен, чем к переменам погоды, — не было никаких признаков скрытой бури; и опять меня поразило, до чего слаба она стала. Она подавала Пегги тарелки осторожными, нащупывающими движениями тяжелобольного человека. Когда с посудой было покончено, она не торопясь достала из буфета три бокала, бутылку хереса, единственную в доме, и целлофановый мешочек с соленым печеньем; после чего мы перешли в гостиную и возобновили разговор.

Разговор... Мое детство и отрочество прошли под разговор, никогда, казалось, не прекращавшийся. У нас в доме разговор был все — пища и любовь, Бог и Дьявол, исповедь, философия и гимнастика. И даже после того, как перестали звучать чеканно размеренные сентенции моего деда, которым особый вес и внушительность придавали частые глубокомысленные покашливания и воздевания к небу сухих, пергаментных рук; после того, как навсегда умолкла тягучая, иронически высокопарная речь отца, голос матери, то возвышаясь, то понижаясь, теряясь во вздохах и вновь возникая, послушный усилию воли, порою тихий, почти неразличимый в гуле природы, а потом вдруг властно заявляющий о себе с неизвестно откуда взявшейся силой, — этот голос, преодолевая все немощи, и расширение сердца, и эмфизему легких, сумел сохранить нерушимым сплошной звуковой поток, который омывал меня чуть не с начала жизни. Разговор в нашем доме вращался по замкнутой кривой, вбиравшей в себя и прошлое и настоящее, снова и снова приходя к одной точке и вновь от нее отправляясь, точно в поисках окончательного устойчивого равновесия. Мать смутили слова, час назад сказанные мной об отце: «Он здесь никогда не хозяйничал», потому что их можно было понять так: ферма тяготила его и сократила ему жизнь. Для меня это был факт; для матери — тревожная догадка. И в стремлении оправдаться, обрести равновесие она,

обращаясь к Пегги, пустилась в пространное, замысловатое и дотошное описание финансовых и семейных обстоятельств, которые обусловили этот шаг. По ее рассказу, который я слышал много раз, и всегда с небольшими изменениями, выходило так, что олинджерский дом был слишком велик и ее матери стало не под силу с ним справляться. («Кстати, ты мне очень напоминаешь мою мать, — сказала она Пегги. — Она, правда, была не рыжая, но такая же энергичная, как ты, и такая же ловкая с посудой, и востроносая такая же. Унаследуй я материн нос, а не отцовскую грушу, я бы, может, не коротала теперь свой век выжившей из ума бобылкой».) Мой дедушка впал в меланхолию. Моего отца едва не свели раньше времени в могилу счета за отопление и за ремонт. Мне, ее сыну, грозила опасность вырасти «типичным олинджерским балбесом» — надо знать этих людей, Пегги, чтобы представить себе, что это такое. Ты не поверишь, они там совершенно серьезно убеждены, что Олинджер — центр мироздания. Никуда не хотят ездить, ничему не хотят учиться, ничего не хотят делать, все бы только сидели и любовались друг на дружку. Я не захотела, чтобы мой единственный сын вырос олинджерцем, я хотела, чтобы он вырос

человеком. Вот она и привезла меня сюда. А что касается моего отца, то «мы с мужем, Пегги, были люди простые, без особых фантазий, а уж если одному из нас по-настоящему хотелось чего-нибудь, другой всегда помогал ему это получить. У меня за всю жизнь было два... нет, три настоящих желания. Сперва мне хотелось иметь верховую лошадь, и отец мне ее подарил, но, когда мы переехали в город, пришлось с ней расстаться. А другие два настоящих желания были — иметь сына и иметь ферму; и оба они исполнились благодаря Джорджу».

Пегги спросила:

— А у него какие были желания?

Мать наклонила голову набок, точно вслушиваясь в отдаленный крик какой-то птицы.

Вопрос ясно и четко сложился у Пегги в голове, и она постаралась передать эту ясность и четкость словами:

— Какое желание вы ему помогли осуществить? Он дал вам Джоя и ферму; а что вы ему дали? — Тон был самый вежливый, но из-под век, еще по городскому оттененных зеленой тушью, смотрели зловеще усталые глаза.

Сердце во мне упало; пальцы, сжимавшие холодную ножку бокала, налились жаром и словно распухли. Меня всегда страшили паузы в речи матери — долгие паузы, когда ее душа покидала глаза и язык и ныряла в безмолвие, в глухой мрак, где я был бы погребен нерожденным, если б она не сжалась надо мной.

— Как что? — наконец произнесла она, широко разведя руками. — А свободу?

В этом ответе, этой отважной попытке оправдать свое супружество ожил весь былой ум матери, и я с испугом увидел, что Пегги смутилась. У нее упрямо отвердел подбородок, и я почувствовал ее внутренний протест против сложного сплетения натяжек и допущений, куда так гармонично вписалось слово «свобода» в качестве обозначения той тревожной смятенности, что постоянно томила моего отца; такой же протест вызвало бы у нее желание пригнать по ней платье с чужого плеча. Моя мать в мифах, творимых из собственной жизни, похожа была на математика, который, приняв за исходную точку некое строго ограниченное предположение, изоощряется в таких кульбитах и экивоках мысли, в установлении таких парадоксальных зависимостей, что человеку со стороны, свободному от пут его логики, все это не может не показаться досужим умствованием. А для нее после смерти моего отца и после того, как я разошелся с Джоан, никого не осталось «не со стороны» — никого, кроме меня, да еще обожающих ее собак.

Пегги резко спросила:

— Разве свобода — вещь, которую можно дать кому— то?

Ее явно злило, что мать изображает как свой великодушный дар отцу неудачу, которую потерпела, так и не сумев завладеть всем его существом. У Пегги тоже была своя мифология: женщина отдает мужчине себя, а мужчина взамен дает ей цель жизни, — и мать сейчас больно задела непрочную основу, на которой эта мифология держалась.

Матери угодно было истолковать ее вопрос в ином, религиозном смысле.

— Я думаю, на самом деле свободу дает только бог, — сказала она. — Но человек властен отнять ее, и если он не отнимает, то это почти все равно что дать.

А потом ее речь плавно потекла дальше, как ручей, забурливший было у торчащей со дна коряги; воспоминания о покупке фермы перешли в воспоминания о самой ферме, о том, какой они ее вновь получили — все запущено, земля разъедена эрозией — и какой она была раньше, в девичьи годы матери, когда большое верхнее поле простиралось ячменным океаном, а на маленьком верхнем поле тянулись ровные грядки помидоров, а на треугольной полянке напротив луга, отливая золотом, зеленела кукуруза, а на дальнем клину, отливая серебром, зеленела люцерна, а огород с картошкой, и луком, и капустой, и штамбовым горохом пролегал вдоль песчаного гребня за фруктовым садом, где груши и яблони опирались на костыли подпорок обвисшими от тяжести ветвями, и даже рощи таили изобилие — изобилие ягод, и орехов, и хвороста; а теперь вот земля отдыхает, поля заросли травой и ждут покоса. Тут наконец разговор обрел твердую почву: из-за покоса я и приехал, потому что матери уже не под силу было водить трактор. А если не будут скошены трава и сорняки, ее оштрафуют. О нашем приезде мы с ней долго и осторожно сговаривались по телефону, стараясь расслышать друг друга в гуле междугородных переговоров со всего штата, пока наконец каждому не сделалось ясно, чего именно от него хочет другой: я должен был скосить траву, а она — поближе познакомиться с Пегги, моей женой, лучше узнать ее и, если удастся, полюбить.

Пегги спала. Под мерную речь матери мою широкобедрую, тяжеловесную жену сморил сон. Она лежала, забывшись в обветшалых объятиях нашего старого рыже-красного вольтеровского кресла, в котором когда-то любил восседать мой дед. Остроносые желтые туфли на высоких каблуках лежали рядом, словно свалились при внезапном толчке. Ступни с длинными пальцами, просвечивавшими сквозь дымчатый нейлон, свесились до полу, продолжая поворот длинных ног, коленями упиравшихся в один из подлокотников кресла. Из-под завернувшейся юбки выглядывал темный край чулка. Покрытые пушком и веснушками руки лежали на коленях крест-накрест, одна полураскрытой ладонью вверх, к лампе, так что видны были голубые жилки на внутренней стороне запястья; лицо, прильнувшее к рыже-красной обивке, было в тени, а длинные волосы, вытолкнув шпильки, неподвижно струились вдоль белой шеи и покорного изгиба спины. Кресло было переполнено ею, и я с гордостью посмотрел на мать: как будто, слушая ее рассказы о ферме, я в то же время без слов демонстрировал ей свое достояние, то, что мне удалось урвать в этом мире. Но мать, ненадолго задержав взгляд на длинной женской фигуре, по-детски доверчиво свернувшейся во сне, вновь устремила его на меня, и в этом взгляде была обида. Боясь, как бы она не сказала что-нибудь унижительное для нас обоих, я нетерпеливо спросил:

— Почему бы нам не нанять человека на косьбу? Почему мы непременно должны косить сами?

— Это наша ферма.

— Это твоя ферма.

— Скоро она станет твоей.

— Пожалуйста, не говори так.

— Я вовсе не думала тебя огорчить. А ты это всерьез сказал насчет поля для гольфа?

— Конечно, нет. На такое поле нужно ухлопать тысячи долларов, и кто вообще будет этим заниматься? Я живу в Нью-Йорке.

— А что, если тебе продать маленькое верхнее поле, нарезав его участками по пол-акра? Уж с этим бы мой дух как-нибудь примирился, а зато на вырученные деньги ты бы мог содержать все остальное. Тут недели не проходит, чтобы ко мне не нагрязнул какой-нибудь покупатель. Чуют падаль стервятники.

— А сколько дают?

— То-то и есть, что гроши. Две сотни за акр. Наверно, решили, что я уже вовсе из ума выжила. Один филадельфийский еврей предлагал двадцать пять тысяч, с тем чтобы дом и фруктовый сад остались за мной; это, пожалуй, было самое пристойное предложение. Думаю, я бы у него все сорок выторговала.

— Ты-то заплатила четыре.

Она пожала плечами.

— С тех пор прошло двадцать лет. За это время и людей стало больше, и денег. Округ теперь не тот, что во времена твоего детства. Деньги возвращаются обратно. Да вот, кстати, — Шелкопф. У него теперь внуки, и он вроде бы не прочь купить наш луг.

— Весь целиком?

— А то как же. Он даже, представь себе, намекал, что этим окажет услугу тебе; мол, если у меня заведется кое-какой капитал, мне не нужно будет прибегать к помощи сына.

— Об этом, пожалуйста, не думай.

— Но-но! — Она повела в воздухе рукой — жест, перенятый ею у моего деда; когда-то в детстве это приводило мне на память загадочные строчки из «Рубайята» про перст, что чертит письмена, и чертит вновь и вновь. — Не спеши возражать. У тебя теперь две жены, а я одними только счетами за лечение разорить могу. Да вот еще док Грааф хочет, чтобы я легла в больницу.

— С чего это? По-моему, если не считать одышки, ты совсем...

— У меня случаются, как это доктора называют, «провалы». Последний раз это было на дальнем поле, я там гуляла с собаками — наверно, они меня и притащили домой; помню только, что я чуть не на четвереньках вползла вверх и давай глотать таблетки из всех коробочек, какие нашлись. Так целые сутки и пролежала без памяти — Флосси за это время успела всю раму изгрызть на том окне, под которым полки с книгами. Они ведь до сих пор туда лезят, все ждут, что Джордж вернется.

— Почему же ты не вызвала меня?

— Ты тогда только что уехал в свадебное путешествие. Словом, вот что, Джой. Бывали у нас с твоим отцом несогласия, но в одном мы с ним всегда сходились: умирать надо подешевле. Сейчас это не так просто. У докторов завелись всякие там аппараты, с помощью которых можно тянуть и тянуть, пока последний доллар не возьмешь из банка.



— Нельзя же все сводить только к деньгам.

— А ты к чему всеводишь? К постели?

Я покраснел, и она, сжалившись, шумно вздохнула и вернулась к начатому разговору:

— Скажи мне по совести, Джой, я тебе не в тягость?

— Нисколько. Те деньги, что я посылаю тебе, — самая меньшая из моих забот.

— Тем лучше. Только имей в виду, что отцовской пенсии мне почти достаточно. Так что могу, в общем, обойтись и без них. Я вовсе не желаю, чтобы в конце концов ты меня возненавидел из-за нескольких долларов.

— Можешь не беспокоиться. Все у меня благополучно — и с деньгами, и с постелью, и со всем прочим.

— А кстати, если уж на то пошло, — сколько тебе стоил развод?

— Мм... все вместе — адвокаты, самолеты — тысячи четыре, не меньше.

— Я думала, даже больше. А Джоан?

— Была по обыкновению чутка и умеренна. В случае, если она в ближайшие два года снова выйдет замуж, мне придется платить немного.

— Ну, это случай маловероятный, с тремя-то малышами. И Джоан не из пробивных — не чета твоей новой.

Боль или досада — я как-то разучился отличать одно от другого — заставили мой голос зазвенеть.

— Это уж от меня не зависит, мама.

Она, явно довольная, откинулась на спинку кресла, в котором сидела. Меня всегда коробило при взгляде на это кресло — плетенное из проволоки, оно предназначалось для сада, но по бедности было выкрашено синей краской и водворено в гостиной.

— А теперь скажи мне, только скажи прямо, не деликатничай. Ты хочешь, чтобы я продала?

— Ферму?

— Часть фермы. Поле или луг.

— Конечно, нет.

— А почему?

Потому, прежде всего, что я знал, как она этого не хочет.

— Потому что в этом нет надобности.

— Тогда обещай, что ты мне скажешь, если надобность появится. Обещаешь?

— Ты сама догадаешься. Так будет лучше.

— Нет, не лучше. Я стала недогадливая.

Итак, ей нужна была видимость соглашения. Я сказал:

— Хорошо, обещаю.

Пегги зашевелилась, распрямляя затекшие ноги; одна ступня вытянулась и толкнула стоявшую на полу туфлю, одна рука машинально одернула юбку.

— У твоей молодой шея будет болеть, — сказала мать.

Пегги раскрыла глаза, последние слова матери дошли до ее слуха. Она растерянно заморгала, не узнавая ничего вокруг себя. Еще одурманенная сном, она казалась удивительно беззащитной и слабой. Я протянул ей руку и при этом повернулся к матери спиной. Борясь с дремотой, Пегги пыталась понять, что означает эта настойчиво, твердо и в то же время просительно протянутая рука потом подняла на меня глаза, и, должно быть, выражение моего лица помогло ей истолковать этот жест как готовность прийти к ней на выручку в трудную минуту — видно было, что она делает над собой усилие.

— Вставайте, сударыня, — сказал я. — Отведу вас в постельку.

— Как глупо, — сказала она, подала мне руку, и я, слегка потянув, помог ей встать с кресла. Без каблучков она казалась рядом со мной совсем маленькой. Руки ее чуть великоваты, с розовыми на сгибах и у кончиков пальцами, и, когда я их представляю себе, не видя, мне всегда кажется, что они овальной формы. Помнится, на той вечеринке, где мы встретились, она впервые понравилась мне, впервые привлекла мое внимание своей позой, неловкой и напряженной; ее руки празднично висели по бокам, повторяя изгиб бедер, точно ненужные в данную минуту инструменты, — висели безвольно, и в этом нежелании хоть как-то прикрыть себя спереди, пусть даже сигаретой в пальцах, чувствовалась готовность сдаться.

— Спокойной ночи, миссис Робинсон, — сказала она. — Извините, что я тут разоспалась.

— Ты поступила умнее нас, — ответила мать. — Спокойной ночи, Пегги. Если ночью озябнешь, в ящике бюро есть запасное одеяло. — Мне она не пожелала спокойной ночи, словно была уверена, что я вернусь.

Наверху, в спальне — прежней родительской спальне, где на стене висел мой детский портрет, — Пегги спросила:

— О чем вы разговаривали?

На портрете у меня были полуоткрытые губы, острый подбородок, прямой нос, приплюснутый и весь в веснушках. Глаза мои, мои глаза — я не мог от них оторваться, такие они были трогательно ясные, так пронизательно и ласково смотрели. Их взгляд словно бы благословлял наш союз. Под портретом стоял ночной столик, а на нем голубая дорожка, лампа с плиссированным пластиковым абажуром, местами расползшимся от прикосновения к горячей лампочке, и металлическая пепельница в виде слона. В запертом ящике я мысленно видел целые пачки писем, любительские снимки, мои школьные табели и аккуратно сохраняемые корешки чековых книжек. На полочке внизу пылилась тяжелая, как гроб, семейная Библия с золотым обрезом, в покоробленном кожаном переплете, доставшаяся отцу от деда, а деду от прадеда. Когда-то я написал свое имя в родословной на последней странице.

— О ферме, — сказал я, отвечая на вопрос Пегги.

— О чем же именно?

— Не продать ли нам часть земли.

— И что вы решили?

— Тут и решать нечего. Ей не хочется продавать.

— А тебе хотелось бы?

— Да нет, пожалуй.

— Почему?

— Сам не знаю. Даже непонятно почему. У меня здесь вечно разыгрывалась сенная лихорадка.

— Я думала, ты скажешь — черная меланхолия.

— Это говорил мой отец.

Я услышал, что мать зовет меня снизу, из гостиной. Непривычная робкая нотка в ее голосе действовала сильнее, чем громкий окрик. Я надел снятую было рубашку и спустился вниз.

— Джой, — сказала мать, — не снесешь ли ты собакам остатки колбасы, а заодно и воды хорошо бы налить в ведро. Не люблю никого затруднять, но, если я пойду сама, они решат, что я хочу их вывести, а я что-то устала сегодня.

— Тебе нездоровится?

— Неможется, как сказал бы твой отец.

Я посмотрел на нее с беспокойством. Она стояла у самой кухонной двери, словно на пороге ложи. В кухне над плитой горела одинокая тусклая лампочка, и мне показалось, что лоб у матери какого-то жестяного оттенка; таким жестяным стало лицо моего деда в последние дни перед смертью. Ее густые волосы, где обильная седина и последние черные пряди образовали узор, от которого щемило сердце, лохматой шапкой торчали во все стороны. С распущенными волосами она мне всегда казалась похожей на ведьму — еще с детских лет, когда я, бывало, смотрел, как она расчесывает их на заднем дворе нашего олинджерского дома, чтобы птицы могли подобрать для своих гнезд упавшие волоски; а когда она причесывалась на ночь в родительской спальне, я, лежа в постели, видел, как из-под щетки летят голубые искры.

Я спросил:

— Может, дать тебе какие-нибудь таблетки?

Она слегка подалась вперед, и ее плечо, с которого спустилась ночная сорочка, странно забелело, попав в круг более яркого света.

— Таблеток у меня хоть отбавляй. И в холодильнике, и под подушкой... — Она переменяла тон. — Тебе нечего беспокоиться, снеси только воды собакам и ступай, укладывай жену спать. Если ей ночью будет холодно, возьми старое индейское одеяло в третьем ящике папиного бюро. А я лягу, и все у меня пройдет.

— Тебе неудобно будет на диване.

— Я всегда здесь сплю. Я, кажется, ни одной ночи наверху не ночевала с тех пор, как... как его нет.

Я хотел улыбнуться, но только пожал плечами. Она отвернулась резко, как от внезапной боли. Мой отец умер в начале прошлого лета.

На дворе уже темнело. Босыми ногами я ощутил шершавый, теплый еще песчаник, потом

обжигающий холод росы. Знакомая бирючина тянулась к луне своим раздвоенным телом. Где-то вдали то ли с грустью, то ли со сдержанным отвращением ухнула сова; еще дальше, на шоссе, раздраженно заскрежетал, переключая скорость, тягач; оба звука шли слева, с той стороны, где ажурная рощица — наша рощица — отделяла наши земли от придорожного участка, который когда-то был частью молочной фермы менонита, а теперь быстро застраивался новыми жилыми домами. В этой рощице мать всю зиму разбрасывала для птиц по камням и пенькам подсолнечные семечки. Из-за этого древесного заслона особенно грозно надвигался на нее внешний мир.

Собаки обрадовались мне. На чужих они обычно свирепо бросались, несколько раз искусали кого-то, однажды дело даже дошло до суда. Вероятно, мой запах показался им похожим на запах моей матери. А может быть, они учуяли во мне моего отца. Собак было три: щенок колли, которого мать взяла у Шелкопфов, собиравшихся его утопить, и два взрослых пса одного помета — помесь чау-чау с дворняжкой; они родились от дочери Митци, моей собаки — я хорошо помнил ее язык с черными пятнами, похожий на анютины глазки, и блестящую медно-рыжую шерстку на шее, пушистую, как одуванчик, и непропорционально маленькие чуткие уши, и изящно изогнутые задние лапы; эти лапы в один июльский день отхватило ножом косилки, на которой работал сын Шелкопфа, это было, когда я еще учился в колледже. Именно после этого случая — собаку тогда пришлось пристрелить — мать купила подержанный серенький трактор, сама выучилась водить его и выучила нас с отцом.

До странности беззвучно, как будто их радостный визг был так тонок, что человеческое ухо его не воспринимало, собаки терлись о мои ноги. Я поставил на землю миску с колбасой, один кусок отдельно бросил щенку на солому, взял пустое ведро и, не забыв припереть за собой дверь сарайчика, пошел к колонке около дома и накачал в ведро воды до краев, присоединив еще один звук к тем, что привычно нарушают деревенскую тишину. В теплом ночном воздухе визгливый скрип насоса разносился по всем окрестным фермам. Монотонную совиную жалобу заглушили причитания козодоя. Я отнес покачивающееся ведро в сарайчик (свет метнулся и исчез: три собачьих носа сослепу вместе ткнулись в воду), вышел и, приглядевшись к луне, определил, что до полнолуния одна ночь, не больше. Потом постоял еще немного под открытым небом, явственно ощущая, как движется время, и почти с облегчением вернулся под крышу, в дом.

Проходя через кухню, я погасил там свет. В гостиной, где уже легла мать, было темно. Я пошел к ней, хотя мысль об ожидающей наверху Пегги распирала мне череп. Я не видел памятных с детства предметов, но обостренным чувством угадывал их присутствие, как паломник, приблизившийся к святыне. Запах в комнате был не такой, как когда-то, — пахло пылью. Я сел в бабушкину качалку, и она откачнулась под моей тяжестью, словно бабушка соскочила, уступая мне место. Мы помолчали.

— Мальчик, видно, умненький, — сказала наконец мать.

— Да, очень.

— Даже странно, — продолжала она. — Должно быть, не в мать пошел.

Удар обрушился на меня в темноте, словно мне накрыли подушкой голову, и стало нечем дышать. Я как будто вернулся на несколько лет назад, к той минуте, когда в этой же комнате я трусливо предал Джоан. И все-таки я оценил — не мог не оценить верное чутье матери. Я только промямлил в ответ:

— Тебе так кажется?

— Удивляешь ты меня, — сказала мать. Оттого что она лежала, ее голос звучал глуховато.

— Чем же?

— Тем, что тебе непременно нужна рядом глупая женщина, чтобы ты себя чувствовал уверенно.

— Ты же ровно ничего о ней не знаешь. И не хочешь узнать.

— Я знаю то, чего предпочла бы не знать. Смотрю вот на тебя и думаю: отец бы не поверил, что этот человек — его сын.

— А ты за отца не думай. Слушай, мама! — Я уже не говорил, а шипел, сипел; я вскочил на ноги, и качалка, запрокинувшись от толчка, качнулась обратно и ударила меня сзади по ногам. — Ты уже мне раз отравила семейную жизнь, и я не желаю, чтобы это повторилось. Будь пожеливей с моей женой. Ей незачем было сюда приезжать. Она и не хотела, боялась. Ты сама позвала нас. Ну вот, мы здесь.

Она отозвалась коротким смешком — я успел позабыть эту ее привычку шумно втягивать носом воздух в знак веселого изумления.

— А я что? Я только сказала, что мальчик, видно умом в отца.

— Не знаю. Я отца видел всего один раз.

Она вздохнула.

— Ты на меня не обижайся, Джой. Я просто вздорная старуха, которой давно уже и поговорить не с кем, кроме собак. Думала, вот хоть с сыном поговорю, да, видно, зря понадеялась.

Ее тактика самообвинения, хоть и хорошо знакомая мне, действовала по-прежнему безотказно; мой гнев растворился в этой мутной смеси шутовства и печали, и, чтобы еще через минуту не оказаться в сговоре с ней, я отступил.

— Я пойду, пора спать.

— Спокойной ночи, Джой.

— Приятных сновидений, как говорил дедушка.

— Приятных сновидений.

Я вышел из гостиной, где луна, как залезший в комнату вор, уже отбирала безделушки и разную серебряную мелочь, и ощупью стал подниматься по крутой и холодной деревенской лестнице. До меня донеслось мерное дыхание Ричарда. Я легонько провел пальцами по его голове. Вернемся в Нью-Йорк, надо будет сходить с ним в парикмахерскую. В спальне было темно, но мне эта темнота показалась обратной стороной особой, отчетливой видимости; мне показалось, будто кто-то глядит на меня, слепого, сквозь голубое стекло двух окон, выходящих на лунный луг. Точно неясный свет в глубине морской бухты, мерцал за правым окном, искаженный дефектом стекла, красный огонек на телевизионной башне, лишь недавно в паутине стальных опор выросшей близ автострады. Под легким нажимом издали идущего света комната распалась на составные элементы: окна, камин, бюро, зеркало, кровать.

Столбики кровати рисовались отчетливыми силуэтами, на верхушках которых, обретая третье измерение, вздулись деревянные ананасы, но само ложе тонуло в потемках — манящая пустота, бархатное озеро меж чуть белеющими прямоугольниками глубоких оконных ниш. Я нашарил стул и разделся около него.

— Где моя пижама?

В таинственной пустоте скрипнуло, и голос Пегги спросил:

— А зачем она тебе?

— Пожалуй, без нее холодно будет.

— Авось не замерзнем.

Когда я улегся, она спросила:

— Что случилось?

— Ничего особенного.

— Ты дрожишь как щенок. Притворяешься?

Я нашел, и схватил, и крепко сжал у запястий ее руки, чтоб она не могла увернуться от того, что мне нужно было ей сказать; и, боком навалясь на нее, придвинув лицо к ее лицу так близко, что можно было почувствовать ее влажное дыхание и увидеть, как блестят белки ее широко раскрытых глаз, я сказал прямо туда, в нее:

— Мне тридцать пять лет, я прошел сквозь огонь и воду и медные трубы — так почему же эта старуха должна иметь такую власть надо мной? Это нелепо. Это стыдно.

— Она что-то говорила про меня?

— Нет.

— Говорила.

— Давай спать.

— Ты спать хочешь?

— Я думал, ты слишком устала.

Ответа не последовало. Бывают, слава богу, минуты, когда слова уже не нужны.

У моей жены широкие, очень широкие бедра и длинная талия; если на нее смотришь сверху, испытываешь ощущение простора, богатства, и оттого, что это богатство принадлежит тебе, хочется и самому всем телом раздаться вширь; когда приникаешь к ней, перед тобой словно разворачиваются одна за другой живописные картины — то как будто с балкона, сквозь затейливую арабскую вязь чугунной решетки видишь даль, снежно-белую от лопающихся коробочек хлопка, то стройный ряд сонных сопок, уходящих в перспективу мазками сухой и горячей охры, то средневековый французский замок, чьи серые стены хитро прилепились к крутому зеленому склону, и каждый уступ повторен башенкой, то какой-то антарктический ландшафт, то, наконец, спуск в долину, где тихая речка притаилась среди виноградников, отбрасывающих на нее черные и лиловые тени, но никто никогда не пробовал тот виноград. А над всем, точно небо, высокое и холодное, царит-парит, господствует, пребывает —

пребывает чувство, что здесь она, уверенная, спокойная, бдительно бодрствующая, и это чувство мне служит защитой от головокружения, в какую бы глубь ни предстояло сойти. С Джоан я этого чувства никогда не испытывал. Меня всегда страшило, что я вот-вот задохнусь, когда я был с ней. Она казалась таким же, как я, опрометчивым беспомощным путником и так же блуждала в темных недрах, куда лишь при землетрясении мог вдруг ударить свет. В такой ненадежный путь можно было пускаться лишь после долгих сборов и двигаться ощупью,

ползком, не зная, куда он тебя приведет. А с Пегги я скольжу, я несусь, я лечу свободно, и это ощущение свободного полета, раз украдкой, мельком испытанное, стало для меня нужней воздуха, непреодолимей земного притяжения.

— Уснем?

— Здесь тишина какая-то громкая.

— В ящике бюро есть индейское одеяло. Достать?

— Боишься озябнуть?

— Если ты будешь совсем рядом — нет.

— Слушай, я поняла, почему мне вдруг пришел на ум щенок. Ты ведь кормил собак, и от тебя немножко пахнет псиной. Как от деревенского батрака. Мне нравится.

— Ты прелесть. Я тебя люблю — всю.

— Вот и люби меня. Люби всю.

— Если ты настаиваешь... — Я уже засыпал.

Мать мне пожелала приятных сновидений. И вот я снова, чуть не в десятый раз, увидел коротенький сон, который стал сниться мне в те времена, когда в мою голову впервые забрела мысль о разводе и новой женитьбе. Мне снилось, что я дома, на ферме. Стою у стены, увитой зеленой виноградной листвой с такими же зелеными гроздьями, и гляжу на окно спальни, точно мальчишка, который пришел в гости к товарищу, а постучать не решается. К окну подходит Пегги, но сетка от насекомых мешает мне разглядеть ее лицо. Ее широкая оранжевая ночная рубашка, моя любимая, слегка спустилась с плеч; она прижимает лицо к сетке, чтобы окликнуть меня, и я вижу, как чудесно она улыбается; ей так нравится здесь, так все с непривычки интересно, она в восторге от фермы и полна желанием вознаградить меня своим лучезарным присутствием за беспросветное уныние тех дней и лет, которые я здесь провел. Она зовет меня; ее улыбка, светлая и счастливая, как бы вобрала и подытожила всю нашу историю, все страхи, все горести, всю беспощадную суровость; через нее, эту улыбку, находит себе путь прощение, идущее издалека, — и столько в ней радости! Никогда еще не было так радостно на ферме.

Я проснулся, и, как это часто бывает, действительность словно бы продолжала сон, только все соотношения оказались смещенными. Я был в спальне, а снизу доносился голос Пегги. Свет шел снаружи: лучи утреннего солнца, чуть притененные сеткой от насекомых, косо ложились на широкие подоконники. Кто-то незаметно укрыл меня индейским одеялом. Со стены улыбалось мое детское лицо, мягкий отложной воротничок, растушеванный по моде тогдашних фотографов, сливался с фоном портрета. Голоса внизу невнятно переплетались, временами их перебивал смех. Я нашел в пустом шкафу старый отцовский комбинезон. Он был мне велик, но я завернул рукава и подпоясался своим ремнем, так что все лишнее подобралось. В одном кармане я нащупал железный гвоздь, который отец для какой-то надобности согнул крючком.

После многих лет, как говорил мой отец, «первобытного существования» нам пришлось во время дедушкиной последней болезни одну из верхних комнат, где раньше стояла швейная машина, переоборудовать под ванную и уборную. Все предметы в ней почему-то казались недомерками, вода при спуске не обрушивалась бурным шквалом, как в городских квартирах, а томно журчала в унитазе. На единственном подоконнике, заменявшем шкафчик, среди армии материнских флаконов с таблетками и разнообразнейших предметов гигиены, которые там успела понаставить Пегги, я нашел старую отцовскую бритву. Солидно, не по-нынешнему

сработанная, она покрылась бирюзовым налетом медного окисла. Если отвинтить ручку, это было нечто вроде сэндвича с лезвием вместо начинки. Я вставил новое лезвие, из своих, и побрился; бритва драла кожу, и на подбородке я порезался до крови, в точности как, бывало, отец. Порез и кровоточил, и жег, и болел по-настоящему, и мне вдруг представилось лицо отца, когда он, виновато улыбаясь, спускался к завтраку с засохшими на ушах ключьями мыльной пены, похожими на товарные ярлыки. Неумелое бритье было одним из мелких обрядов самобичевания, которыми отец пытался задобрить призрак нищеты; раньше я этого не понимал. Мне еще не случалось настолько влезть в его шкуру, хотя всякий раз, приезжая домой, я в первое утро просыпался с легким щемящим чувством неуверенности в том, кто же я — я или он.

Фотография чопорно элегантной Джоан в комнате, где ночевал Ричард, при дневном свете оказалась чем-то таким же далеким, как и мой детский портрет: и десять, и тридцать лет одинаково стерла живая реальность этого безоблачного утра. Внизу, в кухне, на исцарапанных собаками половицах у самой двери, одиноким стеклянным глазом смотревшей из-под виноградной завесы в сторону луга, точно золотистый коврик, лежал ромб солнечного света, испятнанный чуть дрожащими тенями виноградных листьев. Такой же солнечный блик я видел здесь каждое утро и двадцать лет тому назад.

Пегги жарила оладьи. Мать и Ричард сидели у стола, мать пила кофе, мальчик ел корнфлекс с молоком. Что-то нарочитое в том, как мать держала кофейную чашку, заставило меня сосредоточить внимание только на ней — хотя Пегги, оглянувшись, скорчила мне веселую гримасу, а Ричард с увлечением продолжал говорить. Он рассказывал содержание научно-фантастической повести, которую вчера читал, пока не уснул. Пегги была с косичками. Свои длинные, каштановые зимой и рыжие летом волосы, которые у нее то лежат по плечам гривой, то громоздятся в виде пчелиного улья, то чинно стянуты узлом на макушке, как у школьной учительницы, то висят беспорядочными лохмами а-ля Бардо, она заплела в две тугие косички и перехватила резинками, чтобы не расплелись. Любопытно, что усмотрела в этой прическе моя мать — самонадеянность, или высокомерие, или бахвальство? Запах оладий стоял в кухне, как непринятый дар, а Ричард все рассказывал и рассказывал, словно бы самому себе.

— ...и больше на свете не осталось ни одного человека, кроме него, и вот он ползет через кучи теплого пепла, хочет до моря добраться...

Пегги спросила меня:

— Где ты откопал эти штаны? Они на тебе мешком висят.

— Ты порезался, — сказала мать. Голос у нее был пасмурный, как небо перед дождем.

— Я брился папиной бритвой.

— Вот еще фантазия. Зачем?

Может быть, я вторгся куда не надо, осквернил какую-то святыню?

— Она там лежала такая одинокая, заброшенная, — сказал я.

Мать отвела глаза, и причудившаяся мне было угроза исчезла. Голос ее зазвучал гибче, естественней.

— Надо бы ее выкинуть, да мне все жалко — очень уж цвет красивый.

Я бесстрашно вышел на середину кухни.

— А что это за хорошенькая рабыня жарит оладьи?



— Она у тебя, оказывается, на все руки. Нашла пакет готовой смеси, про который я совсем забыла. А правда, вкусно пахнет?

Ричард сказал:

— Мой папа умеет делать оладьи просто из муки с водой, тоненькие-претоненькие. И жарит их на костре.

— Видно, твой папа тоже на все руки, — сказала мать.

— Что это ты там рассказывал про горячий пепел? — спросил я Ричарда.

Пегги крикнула, заглушая очередной раскат шипенья на сковороде:

— Нашел себе подходящее чтение на ночь!

— Действие происходит после атомной войны, — стал объяснять Ричард, — или еще какой-то, там точно не сказано. В общем, на всей планете Земля уцелел только один этот человек, и вот он ползет по радиоактивной пустыне куда-то — потом выясняется, что к морю. Он слышит шум морских волн.

— А ты слышал, как ночью, часов около трех, лаяли собаки? — спросила меня мать. — Наверно, олень забрел в наши места. А может, у шелкопфовой гончей вдруг началась течка.

— Разве это бывает вдруг? — спросила Пегги.

Я сказал:

— Нет, я вчера как заснул, так и проспал до самого утра. Ты же знаешь, мама, у меня сон крепкий. Как у всех подростков.

— А я теперь просыпаюсь от малейшего шороха, — сказала мать. — Вот хоть этой ночью — кровать у вас скрипнет, я уже и не сплю.

— Придется нам к ней приспособить сурдинку.

Пегги спросила:

— Так что же там потом было, Ричард, после того, как он пополз к морю?

— Извини, Ричард, — сказала мать. — Рассказывай дальше, мы слушаем.

— Он добрался до моря, лег в воду и стал ждать смерти, но теперь ему стало гораздо легче: он ведь знал, что, если он умрет в море, клетки, из которых состоит его тело, не погибнут и из них сможет возникнуть новая жизнь, а тогда опять с самого начала пойдет эволюция.

— Я, пожалуй, согласна с твоей мамой, — сказала мать. — Нехорошо на ночь читать про такие ужасы.

— Так это же еще не конец, — воскликнул Ричард с интонацией, очень похожей на интонацию Пегги. — Самое-то главное — последняя фраза, в ней вся соль. Он лежит и смотрит на небо — я забыл сказать, что была ночь, — и видит звезды, а расположение звезд совсем не такое, как теперь! Понимаете, пока читаешь, все время думаешь, что речь идет о будущем, а оказывается, это было много-много тысяч лет тому назад.

— Что-то я не совсем поняла про звезды, — сказала Пегги, раскладывая оладьи по тарелкам прворными движениями голых рук.

— И я тоже, Пегги, — сказала мать. — Я всегда считала, что звезды неподвижны.

— Mam, ну что ты какая бестолковая, — сказал Ричард. — Звезды все время меняют положение, только очень медленно, так что мы этого не замечаем. Когда-нибудь Арктур станет Северной звездой.

— Пожалуйста, не дерзи.

— Я и не думал дерзить.

— Вспоминаю эту повесть, — сказал я. — Там, в общем, идея такая, что все мы, и люди, и динозавры, и дубы, и букашки, произошли от этого последнего человека. Ричард, а с тобой не бывает, что ночью, когда ты уже начинаешь засыпать, тебе вдруг кажется, будто ты великан. Каждый палец у тебя как бревно.

— Бывает, и очень часто, — сказал он. — Жуткая вещь. Я даже где-то читал научное объяснение этому, не помню где. Кажется, в «Сайентифик америкэн».

— Вот такое чувство было, наверно, у того человека, когда он лежал в воде и ждал смерти, как по-твоему?

— Может быть, — сказал Ричард, обеспокоенный этим вторжением трезвой действительности в фантастический мир, только что принадлежавший ему одному.

— Хороший, наверно, был человек, — сказала мать, — раз он так заботился о своих потомках. Пегги, это очень вкусно, только я не должна есть так много мучного.

— Ешьте, ешьте побольше. Теста еще целая тонна.

— Ну, мне конец! — воскликнула мать, и я поспешил расхохотаться, а то она, кажется, в самом деле вообразила, что ее хитро и обдуманно убивают.

После завтрака мы с матерью отправились заводить трактор. Было около десяти часов. На ферме время обладает способностью неуловимо растягиваться и сжиматься. Бывало, в детстве приду я домой, до одури натоптавшись в густых грядках клубники, спина у меня вся взмокла, в глазах рябит от напряженья, с которым высматривал красные пятнышки в зелени листьев, четыре полные корзинки надеты на правой руке, да еще две такие же несущие на левой, приду — и сразу к часам на каминной полке, а на часах (Наверно, остановились! Уж не умер ли дедушка? Я воображал, что часы, как в песенке, соединены с дедушкиным сердцем.) — на часах еще только половина десятого, день едва начался. Но в тот же самый день (и таких дней было много), на минутку присев на диван с журналом, чтобы быстрее переварить обед, наскоро состряпанный бабушкой, невзначай подниму глаза и увижу, что тень от сарая протянулась уже до почтового ящика, а у ящика стоит запыленный «шевроле» почтальона — каким-то образом успели надвинуться сумерки.

Сегодняшний день и все поля, ожидавшие этого дня, казалось, готовы были обрушиться на нас, как вал прибоя, стоит только разбудить спящий трактор. Мать в спешке прибавила шагу, но сразу же схватилась за грудь рукой — начала задыхаться. При дневном свете видно было, как все кругом удручающе заросло подорожником и лопухами.

Наш трактор, древний серенький «форд» с узким капотом, напоминающим морду мула, содержался раньше под тем самым нескладным навесом у конюшни, который мать в конце концов велела снести. Стоя там среди ошметков соломы на выщербленных бетонных плитах, он был укрыт от дождя, но не защищен от ветра, который в непогоду гнал под навес звонкие напоминания о разверзшихся хлябях небесных. Для меня, тогда еще подростка, этот уголок обладал необъяснимой притягательной силой — все зарубки и отметины на столбах и опорах

словно жили своей жизнью; сколько раз, проводив взглядом мать, которая, обгоняя отца, бежала под дождем к дому, я прислушивался к тиканию остывающего мотора, точно это сердце друга билось рядом со мной.

Теперь трактор стоял в самой конюшне, куда не заглядывало солнце, и в воздухе пахло навозной пылью. Мать отыскала в яслях масленку и смазала ходовые части; масленка издавала полый фукающий звук, похожий на механическое сосанье. Я открыл капот и залил в бак горючее. Бензин тек из канистры бледно-лиловой струей, но в баке сложная алхимия светотени делала его золотистым. Мать уже не отваживалась выполнять сама эту требующую силы операцию. Но мотор завела она; неожиданно лихо подпрыгнула, встала одной ногой на подножку, ухватилась за истресканную резиновую баранку и взвалила свое грузное тело на железное седло. Сказать по правде, меня, как когда-то и моего отца, повергали в полную растерянность и панику такие утонченные загадки, как севший аккумулятор, чихающий мотор или засорившийся бензопровод. Но у матери было цепкое чутье технического профана; не прошло и минуты, как дряхлый мотор содрогнулся, ожил и так оглушительно затарахтел, что ласточки метнулись в синий прямоугольник неба, который теперь, когда навеса не стало, начинался прямо от двери.

Довольная, мать уступила мне место. Металл был теплым. Я попробовал ногами педали, поставил рычаг на первую скорость, включил сцепление и, уродливо переваливаясь с боку на бок, выехал из-под навеса. Мать крикнула вслед, и я потянул за рычаг, приподнимавший громоздкую косилку, чтобы она не билась о камни; слыша за спиной ее тряское громыханье, я повел трактор к газону.

Пегги и Ричард смотрели с крыльца на это представление одного актера — стареющего актера с полуседой головой и с дряблыми мускулами горожанина, пытающегося с увлечением сыграть юношескую роль. Они явно были поражены моими успехами; я помахал им рукой, хотел даже остановиться, но у меня еще не возник автоматизм в управлении машиной, и я побоялся застрять. Без напряжения таща за собой неуклюжую полусферу, я поднялся по травянистому склону, пересек пешеходную тропу, выехал на дорогу, миновал наш почтовый ящик и направился к верхнему полю. Большие колеса вращались настолько медленно, что, глянув вниз, можно было увидеть, как зубцы ободьев появляются один из-за другого, точно шлемы бойцов наступающей армии. Трактор не был для меня чем-то с детства привычным и потому все еще вызывал мое восхищение. Я дивился тому, как система передач превращает его рахитичный моторчик в неиссякаемый источник мощи, а эта мощь оборачивается готовностью делать добро, удовлетворять нужды с царственной снисходительностью и величием.

На поле я снова дернул рычаг и опустил косилку. Трактор, придавливая на кочках неровную землю, послушно шел туда, куда я его направлял, но в общем травоядный процесс увлекал его в сторону далеких озер Королевы Анны. Трава цеплялась за выступы металла вровень с моими ногами. Ухо быстро привыкло к шуршанию и скрипу, теперь это были просто оттенки тишины; косилка, волочась за трактором, оставляла ровный след, как будто позади разворачивался рулон неширокого полотна. Ласточки, преследуя взлетающих из-под колес насекомых, носились вокруг меня, как чайки вокруг корабля. Поле было обширное, но я вел трактор не торопясь (мать приучила меня отдавать предпочтение третьей скорости, тогда как отец обычно косил на четвертой, и трактор у него зловеще трясся и буксовал); это укрощало пространство и вселяло уверенность, что

я благополучно достигну маячащей далеко впереди полосы кустов сумаха и айланта — границы большого поля — и так же благополучно вернусь. Мать, когда косила, двигалась по спирали — объезжала поле вдоль краев и потом продолжала описывать все меньшие и меньшие круги, или, точнее, квадраты, пока не оставался только маленький островок в самом центре, похожий по форме на песочные часы, которые затем распадались на два треугольничка и наконец вовсе исчезали. У меня была своя система: я начинал с того, что

стремительным движением по прямой рассекал поле надвое, а затем постепенно обстругивал каждую половину, действуя то на одной, то на другой, развлекаясь сложными фланговыми маневрами попеременно с выкашиванием крохотных участков. Мне образцом служила война, ей — любовь. Но в конце концов скошенное поле выглядело у обоих одинаково, только у нее чаще попадались олеги — в тех местах, где она свернула в сторону, чтобы не повредить замеченное гнездо фазана, или намеренно пощадила очень уж красивый полевой цветок.

Мимо самых колес трактора проплывали златоцвет, цикорий, блошница, льнянка с цветочками, похожими на крохотных балерин, застывших в антраша. Целые россыпи цветов двигались справа навстречу каждому обороту моего колеса, точно небосвод, усыпанный прихотливыми созвездиями, а слева лежали уже подсыхающим кормом для скота. Мошकारа, потревоженная мной, не летела вслед, а тучей кружилась на прежнем месте, продолжая свой немолчный разговор. Прямо из-под колес выскакивали кузнечики; бабочки взмывали прочь от своей рушащейся вселенной, а потом вились над полегшей травой трепетно, как прикосновения немой наложницы к трупу любовника-великана. Солнце взбиралось все выше. Волны горячего воздуха расходились точно сияние от раскаленного капота, и видно было, как под их напором клонятся травинки. У трактора были бока в мыле, а я, покачиваясь на железном сиденье, по форме напоминающем женские бедра, один среди природы, укрытый пылающим зноем не хуже, чем ночной тьмой, невесомый, взбудораженный своим разрушительным делом, чувствовал, как во мне нарастает возбуждение, и, думая о Пегги, не пытался с ним совладать. Моя жена — поле.

Разворачиваясь на краю поля, я увидел вдали движущееся розовое пятнышко — по дороге шла мать. Время близилось к полудню. Волосы у меня на темени стали жесткие и сухие, как сено. И вдруг я расчихался, громко, неудержимо; казалось, каждый кубический дюйм воздуха плотно забила невидимая цветочная пыльца; слезы застлали мне глаза, и я чуть было не задавил двух перепелов — они вспорхнули прямо из-под колес. Я не сразу заметил, что мать не одна: с нею были Пегги, и Ричард, и собаки, восторженно носившиеся взад и вперед. Я поравнялся с ними и выключил зажигание. Мать сказала:

— Бедный мальчик, это тебя с самого утра схватило?

— Что «это»?

— Да насморк твой.

— Нет, только когда я увидел вас.

— Когда увидел нас? — Она оглянулась на Пегги и сказала: — Он думает, это у него психосоматическое.

Пегги принесла мне лимонаду в стеклянной банке с проволочной ручкой, прикрепленной к ободку — в старину такие употребляли для консервирования. Я нарочно дотронулся до ее руки, когда брал лимонад, но ничто не дрогнуло в ее взгляде, настороженном, хоть и приветливом. На ней были белые шорты и желтая блузка-безрукавка, слегка потемневшая там, где проймы терлись о влажное тело. Когда я отнял банку ото рта, она машинально облизнула свою верхнюю губу с усиками пота, и мне почудилось в этом не только сочувствие, но и страх. Она оставила замечание матери без ответа и пристально всматривалась в меня, точно стараясь припомнить, где это мы встречались раньше.

Я спросил:

— Ну, что вы все утро делали? Обедать не пора еще?

Отозвалась мать.

— Ты всего только час, как выехал в поле, — сказала она. — Мы помыли посуду после завтрака, а теперь решили прогуляться по ферме, как вчера уговаривались, и собак вот тоже взяли. Хочешь с нами?

— Надо кончать покос.

— Ты уже много успел сегодня. Какую даешь скорость?

— Третью.

— А следишь, чтобы не разрушать птичьих гнезд?

— Пока мне ни разу не попадались.

— Я, когда подходила, видела, как ты спугнул двух перепелов. За камни часто задеваешь?

— Только чиркнул об один — вон там, на повороте.

— А, тот, большой. Отец, бывало, как проедет, так краешка нет. Казалось бы, за это время он уже должен был совсем с землей сровняться.

Ричард сказал:

— Тракторы, они так медленно двигаются.

По лицу матери я понял, что она на что-то решилась. Она повернулась к Ричарду и сказала:

— Это потому, что они как люди, которые скоро должны умереть — ноги у них не на земле, а в земле. — Она старалась зацепить меня, как крючком, мыслью о ее близкой смерти.

У Ричарда сделалось растерянное выражение лица. Я рассердился на мать за то, что она смутила его.

— Хочешь сесть за руль?

Этот злополучный вопрос был задан мной не только со зла, в отместку матери. Я знаю, что я человек слабый, и мне всегда хочется, чтобы вокруг меня всем было ясно, что кому можно и чего нельзя, — это одно из проявлений моей слабости. Я не выношу, если надо мной висит что-то, не высказанное вслух. А моя мать, напротив, чувствует себя как рыба в воде в атмосфере недоговоренности, когда все только подразумевается и еще может быть повернуто по-другому.

Ричард ответил небрежным баском:

— Ничего не имею против.

— Ни в коем случае.

Не поторопись Пегги, мать, может быть, не сочла бы нужным прочно занять оборону.

— А что, — сказала она. — Сэмми Шелкопф был вдвое моложе Ричарда и вдесятеро глупее, когда стал водить трактор.

— Да, и оттяпал Митци задние лапы, — заметил я.

— Когда я путешествовал с папой, он мне давал править моторной лодкой на озере.

— Ни в коем случае.

— Ну, маме виднее, Ричард, — сказала моя мать мальчику. А потом обратилась ко мне, пробуя, держит ли крючок. — Может, пойдешь с нами прогуляться? Боюсь, не было бы у тебя солнечного удара.

— Нет, я буду косить до обеда.

Я буду косить, а мать поближе познакомится с Пегги; таков был наш негласный уговор. Пусть пообщаются втроем, без моего участия. Я чувствовал их смутную неприязнь друг к другу и боялся запутаться, оказавшись между ними; кроме того, я видел, как мать обиженно отвела от меня взгляд, а Пегги поджала губы, — вот, может быть, досада на меня объединит их. Они ушли, осторожно ступая по скошенной траве: Пегги боялась исколоть почти не защищенные босоножками ноги, а мать, наклонясь к земле, проверяла мою работу — нет ли где разрушенных гнезд, зарезанных птичек. Ричард, по примеру собак, стал носиться взад и вперед, гоняясь за бабочками-капустницами или ловя плавающие в воздухе пушинки. Я с гордостью отметил, что и мать и Пегги — рослые, крупные женщины. Право навязывать свою волю таким — почетное право, и от этого я казался себе еще важнее и богаче, победно плывя вперед на тяжелых колесах, обрабатывавших буйную поросль травы и цветов в унылые пласты скошенного сена.

Сделав пять или шесть заходов, я увидел, как из дальней рощи показалось несколько разноцветных пятнышек, двигавшихся в сторону дома по отлогому склону, у подножия которого торчали развалины табачной сушилки. Разрезавшиеся собаки, бегущий вприпрыжку мальчик, устало шагающие женщины; я наблюдал за ними, пока мой трактор медленно разворачивался у границы поля, и мне чудилось, будто я за одну веревочку удерживаю их всех на месте.

Около полудня по небу, словно круги перед глазами, пошли полупрозрачные голубоватые облака. Поднявшийся ветерок быстро остудил и высушил с одной стороны мое потное тело. Скошенная трава из зеленой становилась грязновато-серой там, где набегала тень очередного проходящего облака, а над рощей небо было густого, но тусклого оттенка, точно полоса обоев, открывающаяся, когда отодвинут долго простоявший на одном месте диван. Разделенные просветом шириной в двадцать тракторов, еще ждали моего натиска два каре нескошенной травы, но тут прибежал Ричард звать меня обедать.

В уголке маленького верхнего поля, за дорогой, росла высокая старая груша, формой напоминавшая беспорядочно бьющий фонтан. У нее было много ветвей засохших и мертвых, и всю свою плодоносную силу она направляла на те несколько, в которых еще сохранилась жизнь; груш было такое множество, что они падали, не успев в тесноте дозреть. Я поставил трактор в тень дерева, на траве, пропитанной соком гниющих, источенных червями плодов.

Мы с Ричардом вместе пошли к дому. Жесткая ткань отцовского комбинезона стесняла мой шаг, саднило ладони, потемневшие от многочасового сжиманья резиновой баранки, рябило в глазах — все это было приятно, давало ощущение сделанного дела, чего моя настоящая работа никогда мне не дает. Я спросил Ричарда:

— Ну как погуляли?

— Хорошо. Видели тетерева и еще дрозда, особенного какого-то. Твоя мама знает, как все называется.

— А ты зато знаешь имена всех американских футболистов.

— Так это же можно прочесть в газетах.

— Что верно, то верно. У матери водятся кой-какие книжки по природоведению, попроси у нее, если хочешь.

— Ладно.

— У меня почему-то картинки никогда не увязывались с тем, что я видел в жизни. Разрыв между идеалом и действительностью.

— Очень древняя философская проблема.

— Или просто картинки были дрянные.

— Я утром читал еще одну повесть из того сборника. Про мути — это сокращенное «мутанты». Действие происходит после атомной войны...

— Как, опять?

— Нет, тут другое. Тут уже уцелело много людей, но радиация перепутала все гены, и вот дети стали рождаться со всякими ненормальностями. Большею частью это были просто уроды, но иногда получался усовершенствованный человек — ну, например, с четырьмя руками или еще что-нибудь. В пересказе выходит как-то глупо.

— Нет, почему же.

— Ну так вот, там говорится про мальчика, который родился с колоссальным КУС — коэффициентом умственных способностей. Когда ему было полтора года, он прочитал весь словарь, чтобы выучиться языку.

— А как насчет увязки слов с тем, что он видел в жизни?

Ричард принял мою шутку всерьез.

— Я еще не дочитал. Там же восемьдесят семь страниц.

Несколько минут мы молча шагали по пыльной дороге. Потом он сказал:

— У моего папы очень высокий КУС.

— А скажи, мама осталась довольна прогулкой?

— Кажется, да. Она мне не велела кидать камни, а твоя мама сказала: если я не в кого-нибудь живого кидаю, тогда можно.

— А твоя мама не ссорилась с моей мамой?

— Мм?

— Поладили они, как тебе кажется?

— Когда мы вернулись домой, твоя мама сказала моей маме, чтобы она вымыла ноги желтым мылом, а то у нее делается крапивница.

— Это как будто непохоже на ссору.

— А я разве сказал, что похоже?

У нас еще оставалась минутка для разговора, пока мы шли по газону к кухонному крыльцу. Я сказал:

— Вечером я поищу свою старую бейсбольную битку, можно будет поиграть. Мальчишкой я посылал теннисный мяч в стену сарая и потом старался отбить, не дав ему удариться о землю. Каждый удар засчитывался за одно очко.

— Можно придумать очень много игр, чтобы играть одному, если не с кем.

— Мне всегда было не с кем. Ты, кажется, первый, с кем я тут могу поиграть.

— А Чарли?

— Своих детей я не считаю.

— Честно говоря, — сказал Ричард, — я бы охотней помог тебе косить.

— Об этом мы еще поговорим.

Мы поравнялись с водопроводной колонкой. Какое это чудо — вода! Ничто — ни насытившаяся похоть, ни вид земного пространства — не вселяет в нас такого глубокого чувства успокоения, как утоленная жажда. Я напился из жестяной мерной кружки, которую мать как-то позабыла у колонки, а потом время освятило ее присутствием здесь в качестве неотъемлемой принадлежности. Ее градуированная стенка, прижимаясь к моим губам, становилась стеной пещеры, где под шелест моего дыхания плескалась холодная колодезная вода. Сквозь сомкнутые веки синь неба казалась красной; в эту минуту я бы счастлив был утонуть. Чувство благодарности стихиям вошло со мною в дом и распространилось на женщин, готовивших еду. У Пегги косички расплелись и волосы в беспорядке лежали на плечах. Ее только что вымытые босые ноги оставляли на полу мокрые следы. Сроднившись с нею в домашних хлопотах, мать казалась ее послушной, туповатой сестрой. Она расстилала на столе плетеные салфеточки под каждый прибор, а Пегги, проворно двигая голыми руками, укладывала на овальное синее блюдо ломтики сыра и болонской колбасы. Блюдо было из сервиза, который мать собрала, вещь за вещь, на дамских вторниках — такие до войны регулярно устраивались в олинджерском кино. Хозяйство моей матери имело ту особенность, что вещи в нем были вечны; на моей памяти не разбилась ни одна тарелка. Я чувствовал, что она содрогается, слыша, как Пегги брякает тарелками и стаканами, ставя их на стол.

Мать заговорила, слегка откашлявшись:

— Когда я работала на парашютной фабрике, там была одна рыженькая, рядом со мной сидела, так она успевала скроить целых три, пока я управлялась с одним. В день вторжения нам сказали взяться за руки и прочесть молитву, и вот помню, держу я ее руку, и мне кажется, будто это у меня в руке птичка — такая сухонькая, горячая, а сердечко так и колотится. Не мудрено, что она с такой быстротой работала. Мне даже страшно стало.

Пегги засмеялась:

— А может, ей тоже было страшно, может, она боялась вас?

Мать пожала плечами и приподняла брови, в точности как дедушка, когда ему неожиданно противоречили.

— Пожалуй, она меня в самом деле побаивалась. Ей просто казалось невероятным, как это можно быть такой копушей. Помню, она мне потом признавалась, что первое время принимала меня за беженку. Как увидела меня, сразу решила, что я беженка из-за границы, и очень удивилась, что я так хорошо говорю по-английски.

Теперь засмеялся Ричард, пожалуй, чересчур весело, и на всякий случай поспешил вступить в разговор.



— А что с ней потом случилось?

— Сама не знаю, — сказала мать. — Наверно, ничего хорошего. Ей тогда шел девятнадцатый год, а у нее уже был ребенок — без мужа. С таким пульсом только беды и жди. Как он у нее бился — точно подшибленный скворец.

Что-то мне показалось странным в лице матери; я не сразу разобрал, что она усвоила себе привычку, заканчивая фразу, округлять глаза — привычку многих пенсильванских стариков. У дедушки этот ораторский эффект еще усиливался выпуклыми стеклами очков, которые он носил после снятия катаракты.

— Кушать подано, — сказала Пегги, разливая суп по тарелкам. Пар клубился вдоль ее руки и уходил в распущенные волосы. Она поставила кастрюлю обратно на плиту, и мы сели за стол. Суп был куриный, с рисом.

Восседая на бывшем отцовском месте, я отеческим тоном спросил Пегги:

— Ну как, познакомилась немножко с фермой?

— Да, и мне она очень понравилась, — сказала Пегги, полуобернувшись, чтобы обратиться не только ко мне, но и к матери. — Я теперь знаю точно, до каких пор она тянется. Вчера вечером мне показалось, будто ей конца нет, но при дневном свете видно, что она не такая уж большая.

— Не большая и не маленькая, — подхватила мать, будто торопясь подтвердить слова Пегги раньше, чем они отзвучат. — Как раз такая, как нужно. Человек не создан жить на площади меньше восьмидесяти акров.

— По статистике многие живут на меньшей, — сказал Ричард.

— Знаю, — ответила ему мать. — И всегда скорблю, когда думаю об этом. Даже непонятно, почему мне так посчастливилось в жизни. Я совсем не заслуживаю такого счастья. — Она помолчала, ожидая возражений.

— К две тысячи сотому году, — сказал Ричард, — на каждого человека будет приходиться около квадратного ярда земли, считая пустыни и горы.

— Знаю, — сказала мать, и я внутренне шарахнулся от фанатизма, который зазвенел в ее голосе. — Я вижу, как это надвигается. Это видно даже в Олтоне — там люди уже стараются стать поугловатей, чтобы легче было втиснуться в свой жалкий квадратный ярд. А ведь человеку положено быть круглым.

Ричард вставил:

— Я недавно читал один рассказ, так там люди имели форму конуса, а двери все были треугольные.

— Платон утверждает, — сказала моя мать мальчику, что бог создал людей совершенно круглыми, о четырех руках, четырех ногах и двух головах, так что они не ходили, а катались, и притом со страшной быстротой. И такие они тогда были сильные и счастливые, что бога зло взяло, вот он и разрезал каждого на две половинки, с небольшой только разницей, и теперь каждый старается найти свою половинку. Это и есть любовь.

— А в чем разница? — спросил Ричард.

Мать ответила:

— Разница маленькая, совсем пустячок.

— Вы имеете в виду пенис?

У нас дома я никогда не слышал в детстве этого слова — вместо него употреблялось, смешно вспомнить, несуществующее слово «пепик». Бывало, когда мы с отцом одеваемся поутру, а мать еще лежит в постели, она посмотрит и скажет: «До чего же большие пепики у моих мужчин». И чувствуя, что притворный страх, с которым она это говорила, не совсем притворный, я недоумевал — мой-то был меньше мизинца, а на отцовский я не смотрел.

Мать была шокирована вопросом Ричарда.

— Да, — сказала она.

— Есть разница и в психологии, — заметила сыну Пегги.

Но мать не любила, когда ее мысли развивали другие.

— Никогда не верила в это, — объявила она. — Я человек простой, верю только в то, что могу увидеть или ощутить.

— А бог? — спросил Ричард.

Мать от неожиданности дернулась вперед и, чтобы оправдать это движение, взяла с блюда еще ломтик колбасы.

— Бог?

— У нас был про это разговор, еще когда мы сюда ехали.

Он (это я) сказал, что вы верите в бога.

— А ты не веришь?

Ричард оглянулся на нас, Пегги и меня, в ожидании помощи, но помощь пришла со стороны самой матери. Она сказала:

— Я все время вижу и ощущаю бога.

Он поднял на нее глаза, снова заблестевшие, как у замороженного лягушонка.

— Если бы я жила не здесь, на ферме, где я его вижу и ощущаю, если бы я жила в Нью-Йорке, не знаю, верила бы я или нет. Вот потому-то и важно сохранить ферму, понимаешь? А то люди вовсе забывают, что на свете есть еще что-то, кроме камня, стекла и метро.

— В Небраске ферм очень много, — сказал Ричард.

— Я живу не в Небраске.

— Мы много ферм проезжали, когда ехали по автостраде.

— Мне те фермы не нужны. Мне нужна моя ферма.

Усилием своего детского ума, таким, что даже губы у него плотно сжались, он понял, что дело тут не в упадке фермерского хозяйства вообще, а в чем-то глубоко личном. Он вернулся к своему первому вопросу, но поставил его несколько иначе.

— А как вы можете ее использовать?

Не спуская глаз с Ричарда, мать пальцем указала на меня.

— Он говорит, что поле для гольфа обошлось бы слишком дорого.

— Куда мы с папой ездили, там большие пространства невозделанной земли отведены под заповедник для птиц. Но там есть озеро.

— Ну что ж, — сказала мать. — Можно сказать, что здесь заповедник для людей...

Ричард приоткрыл рот, словно собирался засмеяться, но смеха не последовало.

— ...такое место, — продолжала мать, — куда могут приехать люди, чтобы хоть час-другой побыть беженцами вроде меня, пообтесать свои углы, попытаться снова стать круглыми, как когда-то.

Я почувствовал, что не могу больше выносить эти сентиментальные бредни, гипнотизировавшие впечатлительного мальчика скрытой в них ноткой отчаяния.

— Мама, — сказал я, — ты очень преувеличиваешь земельный кризис. Садись в самолет, сверху увидишь, сколько еще у нас свободной земли. Она стоит дешево, пока ей применения не найдут.

— Тс-с, — отозвалась мать. — Мы с Ричардом задумали устроить тут заповедник для людей. Я буду сидеть под старой грушей и продавать билеты, а его мы назначим смотрителем, и он будет отбирать больных — на предмет истребления.

— Странный у вас заповедник, — сказала Пегги. — Похож на концентрационный лагерь.

— Пегги, — сказала мать, и блики света вдруг заиграли в ее увлажнившихся глазах, — когда человек уже не годится на то, чтобы жить, кто-то должен ему сказать об этом. Нельзя полагаться на его собственную догадку потому что это такая вещь, которую себе не скажешь сама. — И она встала и выбежала из кухни, хлопнув дверью; ее розовая кофта кричащим пятном мелькнула среди зелени за окном.

После обеда стала собираться гроза. У прозрачных облаков отросли плотные брюшки, и поднявшийся ветер гнал их куда-то вбок. Успев позабыть, какой захватывающий спектакль разыгрывают порой облака в нашей холмистой местности, я теперь с интересом наблюдал его со своей тракторной трибуны. Через весь призрачный материк над моей головой шла цепь просвеченных солнцем укреплений, словно бы возведенных по строгому стратегическому плану; и оттуда, чередуясь, протягивались к земле косые полосы света, тени и клубящегося пара; масштабы зрелища были величественны, как масштабы истории, — оттого, должно быть, все эти смены, разрывы и сцепления облаков разного сорта приводили на ум политические ситуации: небо, покрытое кучевыми — «барашками», — было парламентом, где, тесня аристократию перистых, демагогом наступала темная грозовая туча.

Вспышка гнева или отчаяния матери оставила непроходящую тяжесть на сердце. После того как хлопнула дверь, Пегги спросила меня:

— Что-нибудь я не так сказала?

— Не знаю, может быть.

— Но что же именно?

— Да нет, ничего. Сказала то, что думала.

— А разве нельзя? По-моему, она просто нарочно все принимает на свой счет.

— Она иначе не умеет.

— Что бы я ни сказала, она бы нашла к чему придраться — не одно, так другое. Нельзя так давать волю своему дурному настроению, она пользуется им, как оружием.

— Станешь когда-нибудь такой старой и больной, рада будешь пользоваться любым оружием.

Ричард спросил:

— Можно я пойду спрошу, чего она рассердилась?

— Иди, если хочешь. — Меня поразило и тронуло его желание. В его возрасте я часто выступал в роли домашнего миротворца; впрочем, эта роль сохранялась за мной вплоть до смерти отца. — Ей нравится рассказывать тебе про ферму.

— А мне нравится слушать. И вообще мне здесь нравится. — Он искоса глянул на Пегги, вскочил — и дверь хлопнула снова, на этот раз за ним.

Пегги, убирая со стола посуду, спросила:

— Что мне делать?

— Как это, не понимаю.

— Я тебя спрашиваю, что мне делать — сегодня, сейчас. Чтобы как-нибудь дотерпеть до конца этого веселенького визита.

— Делай что хочешь. Читай. Принимай солнечные ванны.

Очередная коалиция облаков распалась, и всю зелень, видную мне в стекле кухонной двери, залило солнцем — угол фруктового сада, лохматую траву у самых ступеней, свешивавшуюся сверху ветку орешника, блеклый куст гортензии, который уже давно отцвел.

— Не знаю, не знаю, — сказала Пегги, отбрасывая с лица волосы. — Все это слишком сложно для меня.

Я сказал:

— Не вижу ничего сложного. Немножко больше такта, и все. — Я сам не знал, отчего говорю так сердито.

В затянутом проволочной сеткой окне появилось лицо Ричарда.

— Мам, я иду полоть с миссис Робинсон. Она меня научит отличать сорняки. Мы на огород идем, который — за фруктовым садом.

— Смотри, чтобы солнце не напекло тебе голову, — сказала Пегги.

В окне над головой Ричарда появилось лицо моей матери. Сетка стирала его черты и делала похожим на лицо статуи, извлеченной со дна моря.

— Не обижайся на меня, Пегги, — крикнула она. — Ты была совершенно права насчет концлагеря. Это все моя тевтонская страсть к порядку. Составь посуду в раковину, я потом вымою.

Мы слышали их удаляющиеся шаги.

Пегги потянулась мимо меня за тарелкой. Я погладил ее грудь, совсем маленькую под натянувшейся от движения материей, и сказал:

— Вот мы и одни остались. Давай поиграем.

— От тебя сеном пахнет, — сказала она. — Мне захочется чихать.

Я почувствовал, как все ее тело враждебно напряглось. И я ушел от нее — косить под клубящимися облаками.

Косьба становилась все меньше похожей на идиллию. По мере того, как двигалось время, двигавшееся, впрочем, очень медленно. Около трех, как мне показалось, я пошел напиться и увидел, что часы, тикающие в пустой кухне, показывают еще только десять минут третьего. За домом, где росла такая нежная травка, что косить ее не составляло труда, на разостланном индейском одеяле лежала Пегги в бикини и словно бы дремала.

— Ты спишь?

— Нет.

— Хорошо тебе тут лежать?

— Так себе.

— А где моя мать с твоим сыном?

— Они собирались полоть.

— На огороде их не видно.

— Ну, еще куда-нибудь пошли.

— Ты что же, за все время ни разу не сходила их проведать?

— Я только полчаса, как вышла сюда. Мыла посуду, прибирала немножко. Во всех углах паутина. Она хоть когда-нибудь подметает в доме?

— Этими делами очень рьяно занималась ее мать, оттого, наверно, у нее самой нет к ним привычки.

— Всегда ты стараешься найти ей оправдание.

— Это вовсе не оправдание. Просто логическое объяснение, как сказал бы Ричард.

Моя жена лежала ничком, волосы у нее были закинута с затылка наперед, и казалось, будто она стремглав падает откуда-то с высоты; теперь она перевернулась на спину, подставив живот солнцу, и заслонила глаза рукой, покрытой легким пушком от кисти до локтя.

Губы ее приоткрылись под горячим прикосновением солнечных лучей. Я сказал:

— Люблю тебя.

Она лежала, слегка раскинув ноги, и кое-где видны были завитки рыжеватых волос. По ее светлому телу, наготы которого почти не скрывали две узкие полоски лиловой в горошек ткани, вдруг пробежала дрожь, как у капризного ребенка, если до него неожиданно дотронуться. Я до нее не дотрагивался, не смел. Не сдвигая лежащей на глазах руки, она отозвалась:

— Что-то я здесь этого не чувствую. Слишком уж ты — как бы это сказать? — занят. Мне кажется, ты все время мысленно суетишься вокруг нас обеих, и от этого все идет еще хуже.

— А разве что-то шло плохо?

— Очень плохо, и ты с самого начала знал, что так будет.

— Ричард, по-моему, доволен.

— Она к нему подделывается, чтобы через него добраться до меня. А вообще у меня нет больше сигарет, и, кроме того, началось это самое.

— А тампекс у тебя есть?

— Тоже нет. Я не ждала так рано и не захватила.

— Может, у матери есть?

— Уж не такое она чудо природы, миленький мой.

Я покраснел — мне ведь просто вспомнилось, как лет десять назад, оказавшись в подобном затруднении, Джоан всегда находила у матери все, что нужно. В приливе царственного великодушия, не вязавшегося с моим нелепым видом в отцовском комбинезоне, я в эту минуту готов был подарить Пегги ребенка, чтобы избавить ее от кровотечений.

— Скажу сейчас матери, что надо снарядить экспедицию за покупками. Наверно, и что-нибудь из еды не мешает купить.

— Мы, кажется, проезжали какую-то лавку примерно за милю до поворота сюда.

— Это компании Хертц. Заведующий там — менонит и сигаретами не торгует. Сигареты можно достать не ближе, чем миля за пять по дороге к Олтону — у Поттейджера в Галилее.

— В Галилее?

Повторив, она словно произнесла заклинание. Мир превратился в чашу, до краев наполненную светом. Я поднял глаза и замер: луг, трава возле дома и все, что росло между ними, — молодая акация, куст орешника, голубая ель, которая мне когда-то была по плечо, — все потонуло в сверкающей тишине, совершенной, зримой тишине, подобной коротенькой паузе в непрерывном течении жизни; каждый восковой листок и серебряная былинка были высвечены августовским неярким солнцем так бережно, что сердце у меня дрогнуло, как от удара. Потом, постепенно размывая волшебное видение, стали доходить до меня голоса птиц и насекомых — вечный аккомпанемент деревенской тишины.

Солнце спряталось. Пегги по-прежнему прикрывала глаза рукой. По дороге проехал почтальон на машине, за которой вилось облако розовой пыли. Я побежал к почтовому ящику, но там ничего не оказалось, кроме циркуляра почтового ведомства и письма для матери от д-ра И. А. Граафа. В дальнем конце фруктового сада показались мать с Ричардом, они шли из рощицы, которая отделяла нашу землю от пустошей, ожидавших застройки. Я пошел фруктовым садом наперерез — отдать матери почту и сговориться насчет покупок.

— А мы только что видели лисий помет, — объявил Ричард. — Он темный и не такой твердый, как у сурка.

— Лис опять много развелось, — сказала мать. — У нас так: то на лис урожай, то на фазанов, и сейчас как раз лисий период. Пять лет назад фазанов было столько, что они иногда подходили прямо к кухонному крыльцу. — Она покосилась в сторону дома и увидела лежащую Пегги. Надеюсь, Сэмми Шелкопф не сидит на веранде с биноклем, — сказала она.

— Это я посоветовал ей принять солнечную ванну. Она перемыла всю посуду и вытерла в гостиной пыль.

— Чудесно, — сказала мать с усмешкой; мой резкий тон заставил было ее отшатнуться. — Чудесно. Я вообще за природу — чем ближе к ней, тем лучше.

— Нам нужно купить сигарет.

— Ты же как будто бросил курить.

— Я бросил. Это для Пегги.

— Скажи ей, что от табака желтеют зубы.

— А мама курит не затягиваясь, — сказал Ричард. — Папа над ней всегда смеется за это.

— Когда это он успевает над ней смеяться? — спросил я.

— А когда приезжает за мной и когда привозит меня обратно.

— Пегги еще кое-что требуется, — сказал я матери. — По женской части.

— А-а!

— Так что кому-нибудь нужно съездить за покупками. Ты еще едешь на своей машине?

— Только при крайней надобности. Боюсь, после того случая, в июне, как бы вдруг не потерять сознания за рулем. Я-то пусть, да ведь другие могут пострадать.

— Ладно, поеду сам. Что-нибудь из еды надо покупать?

— Наверно, надо. Сейчас взгляну, что есть в холодильнике, и посоветуюсь с Пегги.

Она назвала холодильник «ледником», и это сразу вернуло меня в мир Олинджера, детский мир, где каждая отлучка из дому была увлекательным событием.

— Так ты займись снаряжением экспедиции, — сказал я. — Могут принять участие все желающие. А я буду кончать покос, пока вы там собираетесь.

Мать приложила руку мне ко лбу, пробуя, нет ли жара.

— Не надо усердствовать сверх меры. Не забывай, ты ведь теперь горожанин.

— Он иногда, когда привозил меня обратно, оставался ночевать, — сообщил мне Ричард, польщенный в простоте души тем, что его слова не были пропущены мимо ушей. — И утром завтракал с нами.

Они пошли дальше, к дому. По дороге мать раз остановилась и, наклонясь, подняла валявшуюся в высокой траве мотыгу. Пегги встала им навстречу. Вероятно, то было мое воображение, но мне показалось, что она как-то бесстыдно качнула бедрами, как-то нахально

отбросила лезшие в глаза волосы. Я видел ее первого мужа только раз: мы заезжали к нему в Нью-Хейвен за Ричардом по дороге из Труро, где прошел наш медовый месяц — две недели, из которых десять дней лил дождь. Полуразрушенные ступени, вырубленные в крутой скале над полоской пляжа, казались мне тогда лестницей Иакова, а отполированная прибоем галька — россыпью сказочных самоцветов; в дымке тумана тела наши становились зыбкими, неосязаемыми, но только не друг для друга, и Когда Пегги засыпала рядом со мной под шорох дождя на крыше снятого нами домика с плетеными креслами и детективными романами военного времени и пепельницами из раковин морского гребешка, я был безрассудно счастлив — так счастлив, что мое сердце словно вырвалось за положенные человеку пределы блаженства и блуждало где-то на грани подступающей безнадежности, где всему неизбежно настает конец. Наш короткий срок уже истекал. Отец Ричарда — Пегги никогда не называла его по имени, а только по фамилии: Маккейб — был деканом в Йельском университете. Я приготовился его возненавидеть, но, к моему большому смущению, он мне понравился. Не выше Пегги ростом, румяный, застенчивый, с проглядывающей уже лысинкой, он казался типичным ученым, в котором робость уживается с апломбом. Мать когда-то мечтала, что я стану поэтом или на худой конец педагогом; я не оправдал ни одного из ее ожиданий. В Маккейбе я увидел то, чем мог бы стать сам. Физически он был как-то противоестественно молод. Теннис и бадминтон выработали у него пружинистую четкость движений. Хорошо очерченный рот с очень яркими губами напоминал вампира — я подумал, уж не сосет ли он кровь своих студентов. Натренированная улыбка легко появлялась на его лице. Как у Ричарда, у него были редко расставлены зубы, и это придавало ему что-то милое; глаза были без блеска, с поволокой; казалось, ему недолго по-детски расплакаться от огорчения. Профессиональная привычка к беседе сказала при разговоре с нами в том особом, напряженном внимании, с которым он слушал, и, если Пегги вдруг нервно повышала голос, можно было заметить эту напряженность по тому, как шевелились его руки, высовываясь из манжет. С бывшей женой он держался просто и ласково, но был, видно, все время настороже.

После этой встречи мне настойчиво захотелось разобраться, кто же, собственно, от кого ушел. Раньше я понимал так, что это Пегги решила, Пегги настояла, Пегги захотела свободы и добилась ее; но какие-то искорки в круглых карих глазах декана Маккейба заставили меня усомниться на этот счет, и подчеркнутая горячность, с которой он мне пожал на прощание руку, еще усилила мои сомнения. Он словно очень многое спешил вместить в это короткое соприкосновение со мною, но я не знал что — жалость, готовность простить, стремление утвердить свое превосходство, чувство облегчения от того, что я оказался таким безобидным, признательность, ненависть? Из ее рассказов я никогда не мог понять, что в нем было плохого.

Мы просто не подходили друг другу, я это почувствовала первая, а у Маккейба хватило такта согласиться со мной. Но все-таки что именно тебе в нем не нравилось? Он был злой? Путался с другими женщинами?

Нет, не то чтобы... Как это не то чтобы?

Только когда я сама его до этого доводила. А ты его доводила?

Поначалу ненамеренно, разумеется. Она откинула со лба волосы. Так, может, он импотент?

Что за глупости. Скажешь тоже, Джой. Ее протест казался преувеличенным, машинальным, идущим от выработавшейся привычки к самозащите. Не требовал же я от нее утверждения, что они вообще никогда не были близки. Или меня можно было так понять? Так чем же он тебе не угодил в конце концов?

Не знаю. Не могу объяснить. С ним я никогда не чувствовала себя до конца женщиной. А со мной?



С тобой — да. Но почему?

Ты со мной обращаешься как со своей собственностью, и это замечательно. Но мужчина не может быть таким по желанию. Просто вот ты такой. А он нет?

Он был слишком занят собой и оттого нерешителен. Я ему была в тягость. Он любил книги, любил мужское общество. Потому он и не женился больше? Ей достаточно было сказать «да», но она сказала:

потому, а кроме того — с довольной усмешкой —

ему кажется, что он все еще любит меня.

Я косил, и в облаках, пливших надо мною, видел облака, которыми для меня был окутан этот развод. Небо из государства, окруженного цепью укреплений, и арены политической борьбы превратилось в место, где шло вскрытие одного погибшего брака: то словно длинная рука легла во сне на чью-то исковерканную грудь; то темные дождевые облака сбились в кучу, точно адвокаты в пылу препирательств; а из пятиугольного голубого просвета мне вдруг явственно послышался резкий голос Пегги. Из всех сил я гнал от себя мысль, еще подогретую матерью, что я дурак, что Маккейбу я был жалок и смешон. Если она спала с ним после того, как они разошлись, даже после официального развода, это может значить только одно: она старалась вернуть его, а он так и не захотел.

Загудел клаксон.

По дороге ехал старенький отцовский «шевроле», которым правила мать. Я остановил трактор прямо среди поля и отряхнул труху с сорочки. Рядом с матерью сидел Ричард. Я спросил:

— А Пегги где?

— Она решила не ехать. Неохота переодеваться.

— А ты ее ласково звала?

— Очень ласково — правда, Ричард? — Мать отодвинулась, уступая мне место за рулем.

— Она сказала, если мы можем без нее обойтись, она лучше побудет дома, — сказал Ричард.

Мне их объяснения не внушали доверия.

— Не слишком любезно. А ничего, что она тут останется одна?

— Господи боже мой, — сказала мать. — Мы всего-то четверть часа проедем. И собаки — надежная охрана. Я здесь уже семь лет днем всегда одна, а последний год и днем и ночью; и никто меня ни разу не тронул.

— Но...

— Хочешь сказать, что с меня взять нечего? — Она разошлась и уже не могла остановиться. Я хотел ее успокоить, но она не слушала. — Пожалуйста, оставайся с ней, а мы с Ричардом вдвоем съездим, не знаю только, что люди подумают, если я вдруг войду в магазин и спрошу тампекс. А впрочем, не все ли равно — в Галилее и так считают, что я не в своем уме. Но если хочешь знать, Пегги, по-моему, больше нас всех способна постоять за себя.

Я уселся рядом с ней и включил сцепление. Я не успел перестроиться после трактора, и

старый «шевроле» неуклюже рванулся у меня сразу вперед. Как будто он был приучен отцом к бестолковой, оголтелой езде и эта привычка въелась в металл. Мы выехали проселком на узкую мощеную дорогу, а по ней добрались до главного шоссе штата, по которому ехали вчера после того, как свернули с автострады. За поворотом шоссе шло дальше на Олтон. Примерно через милю знакомая мне с детства неширокая асфальтовая лента развернулась в современное четырехрядное шоссе с разделительной полосой из серо-голубой щебенки. По сторонам стояли белые мачты с рефлекторами, пригнутыми над проезжей частью наподобие свода. Немного спустя шоссе врезалось в гору, которую старая дорога огибала. Мы промчались между гладко стесанных стен красноватой породы и поехали дальше совершенно неизвестным мне путем. Машина шла, будто не касаясь земли.

— Не пойму, где это мы едем, — сказал я.

— Сейчас мы на задах фермы Бенджи, — ответила мать. Бенджи Хофстеттер был наш родственник. — Штат заплатил ему немалые деньги, — добавила она с гордостью.

Угодья, по которым отец столько раз возил меня из школы и в школу, теперь остались в стороне, и если раньше наш паломнический путь разворачивался как свиток, в извечном порядке открывая глазу курчавые перелески, уютные прогалины, заклеенные плакатами стены домов, то теперь по обе стороны мелькал однообразный пейзаж пустырей — пожухлая трава и размокшая глина. Мать, в отличие от меня, это ничуть не смущало, и она оживленно объясняла мне, что по новой дороге до торгового центра в олтонском предместье не дальше, чем до Галилеи, которая прежде была на полпути.

По ее настоянию мы поехали в торговый центр. Крикливый избыток товаров, звучащая отовсюду музыка, сюрреалистическое засилье автомобилей — среди всего этого, выйдя из пыльного отцовского «шевроле», я почувствовал себя выходцем с того света. На этом месте в давние годы была городская свалка, в зарослях сорной травы ржавого цвета тлели одинокие зловонные костры. В магазине самообслуживания ничем не пахло, потому что каждая репка лежала аккуратно завернутая в целлофан, и в воздухе разлита была ровная, чуть кисловатая синтетическая прохлада. Я злился, видя, как жадно мать и Ричард шныряют по проходам с моими деньгами. Я хотел поскорее вернуться к Пегги, мне было страшно: вдруг какой-то чудовищный зигзаг времени сделал ее старухой или вовсе смахнул в небытие и я останусь один в настоящем, один с этой зловещей тенью моей матери, этим голодным ребенком — моим двойником, этими акрами разноцветных суррогатов, всем этим омерзительным избытком.

Мать и Ричард не торопились, у контрольных касс стояли длинные очереди, а когда все покупки наконец были снесены в машину, я решил, что Пегги с удовольствием выпила бы вечером джинну с лимонадом. Винный магазин, принадлежавший штату, находился по другую сторону автомобильной стоянки. Белые линии отметок расплзлись на обмякшем гудроне. Мать пошла с Ричардом в аптеку купить ему солнечные очки. Наша поездка нестерпимо затягивалась. Было уже ясно, что мы пробудем в отсутствии не меньше часу. Когда я гнал машину в обратный путь по широкой белой дороге, в которой не видел уже теперь ничего чудесного, мне все представлялась моя жена в страдальческих позах. Я думал о том, о чем предпочел бы накрепко забыть, — как она целых два года промучилась из-за моей нерешительности, терпя и обиды и унижения. Вспоминал то воскресное, озаренное бледным мартовским солнцем утро, когда мы встретились в парке после моего первого тягостного объяснения с Джоан, происшедшего накануне. Ричард, виляя из стороны в сторону, разъезжал по аллее на велосипеде, который она подарила ему к рождеству; из экономии велосипед был куплен на вырост. Я рассказал ей, что обещал Джоан выждать полгода, прежде чем принимать окончательное решение; и уговор был такой, что эти полгода мы с Пегги не должны видеться. Она слушала и кивала, все кивала головой, словно говоря, что согласна, что иначе и быть не может, что она понимает и ценит мою честность, и мое благородство по отношению к Джоан, и мое душевное бескорыстие — и вдруг бухнулась мне

в плечо головой и выкрикнула прямо в ворс моего пальто:

Иди, Джой, иди! — и шею мне обжег поток слез, стремительный, точно атака, и я понял, что вовсе она не умилена моей победой над любовью к ней, потому что она сама и была эта любовь, жила для себя только в моей любви и уже видела себя отвергнутой, покинутой, видела, как навсегда разлучает нас ускользящая вечность (серые аллеи, черные среди мартовской слякоти фигуры немногих прохожих, торопящихся в церковь, деревья, на которых уже набухают первые почки, нянюшки-негритянки в прозрачных ботиках), — а я ничего этого не видел и не знал. И дальше мне вспоминалось: вот она полусидит на постели, голая, облокотясь на подушку, ее плечи и стройная шея темным силуэтом выступают на фоне распущенных волос, сквозь которые просвечивает сияние городских огней за окном с голубоватыми стеклами; и вдруг раздается ее непривычно тоненький голос:

А ты меня не забудешь? Когда это было? Тогда ли, когда я уехал якобы в Сент-Луис, а наутро проснулся в Нью-Йорке и увидел, что идет снег? На другой стороне улицы рос платан, доходивший до высоты ее окон, и каждый зародыш почки на его оголенных ветвях украшен был белым венчиком. Начав одеваться (синхронно с моим двойником в Сент-Луисе, торопившимся, чтобы поспеть на девятичасовой самолет), я поставил на проигрыватель пластинку, которую подарил ей накануне, но любовь не дала нам времени послушать ее. Это был Бах в исполнении вокального джаза.

Во-де-о-у-ула-ла ла-ла-ла. Звонящая тарабарщина накладывалась на барочную партитуру, и словно бы в такт прихотливым ритмам этой музыки ветер гнал за окном мокрый снег, а Пегги заперлась в ванной, и слышно было, как там льется вода; в брюках и чистой белой сорочке, казалось, чуть липкой от духоты южного города, который на самом деле был далеко, я стоял босиком в центре мягкого боливийского ковра, не раз заменявшего нам постель, — стоял и, как зачарованный, не сводил глаз с окна; там, за подоконником, рябым от насыпанных для воробьев крошек, сразу же начинался другой, близкий город; снег, и музыка Баха, и шум воды, льющейся в ванной, пересекались в одной точке, и к этой точке пригвождено было мое сердце. Никогда еще я так остро не чувствовал, что счастлив, и никогда так ясно не сознавал всей хрупкости этого чувства, неверного, как бред. Наконец я собрался уходить, уже облачась в свой солидный костюм делового человека (мой беспорочный двойник летел в это время с юга на север), — и тут она неожиданно взмолилась:

Не приходи больше. Мне слишком тяжело каждый раз с тобой прощаться. Не сердись, я не виновата, я хотела быть тебе необременительной, приятной любовницей, но ничего у меня не выходит. Я слишком собственница. Ступай, вернись к Джоан и постарайся не обижать ее. Не надо бы мне в тебя влюбляться, это все осложнило. Но когда я впервые — и раньше, чем следовало, — сказал, что готов уйти от Джоан к ней, она закричала:

Нет, нет! А твои дети? Мне никогда не искупить такой вины перед тобой! Образы наплывали в моей памяти, болезненно искаженные, как отражения в воде. При встречах с Джоан лицо у нее каменело в испуге, поздней переходившем в вызов, при расставанье оно, краснея, подергивалось от слез; когда мы снова оказывались вместе, я видел это лицо бледным и утомленным, и не раз, ложась со мною в постель, она принимала меня в свое тело, как принимают неотвратимый удар; вспоминая все это, я сам удивлялся, как я мог ее столько мучить, по какому праву заставил пройти через этот придуманный мною иску. А теперь она где-то там одна, беззащитная, может быть ставшая жертвой насилия — ведь у бога свои причуды, и его не смутит, что положенную ей долю страданий она уже вынесла.

Рядом испуганно вскрикнула мать. В мыслях спеша на помощь к Пегги, я превысил дозволенную скорость. Мать в машине всегда нервничала, точно молоденькая; странно было видеть, до чего дорога ей жизнь.

Выписав все петли очередной клеверной развязки — есть что-то театральное в их

замысловатости, — мы съехали с широкого белого шоссе на старое, черное, потом тряслись несколько минут по мощеной дороге, наконец свернули на наш проселок — и тут я даже засмеялся от облегчения: Пегги, по-прежнему в бикини, полола огородные грядки.

От непривычки она делала много лишних движений, чересчур энергично ударяла мотыгой, и это еще подчеркивало ширину ее бедер, линию, плавно сбегавшую к щиколоткам, а потом, казалось, теряющуюся в земле. Мы остановили машину под старой грушей, в тени немногих еще живых ветвей, на которые приходилось все бремя ее урожая. Мы вышли из машины. Голова у меня была тяжелая и болела.

— Что ты во мне нашел смешного? — спросила Пегги.

— Не обращай на него внимания, Пегги, — сказала мать. — Ты очень мила сейчас. Обычная мужская манера: заставляют женщин за себя работать, а потом еще смеются над ними.

Громче всех смеялся Ричард.

— Mam, ты как-то неподходяще одета, — сказал он.

Мать заметила:

— Смотри только не выдирай вместе с сорняками бобы, у них корни очень неглубоко сидят.

— Я стараюсь, чтобы у меня получалось так, как у вас, — сказала Пегги и грязной рукой откинула с лица волосы. Меня донельзя тронул вид ее босых ног с розовыми от лака ногтями, плоско стоявших на земле и до щиколоток облепленных грязью, как у ребенка или у цыганки; должно быть, проснувшееся во мне желание обдало ее волной, как может обдать волной тепла или запаха, потому что она вдруг беспокойно поежилась, и я понял, что словно выставил напоказ ее наготу, подчеркнул несообразность ее костюма.

— Что-то у меня голова болит, — сказал я, чтобы отвлечь внимание матери. — Не найдется ли в доме старой отцовской шляпы?

— Говорила я, что у тебя будет солнечный удар, — встревожилась мать. — Больше ты косить не будешь.

— Надо же кончить.

— Надо-то надо, но все хорошо в меру. Не коли мне глаза тем, что надо. Свалишься, так твоя жена скажет, я виновата.

— Солнце уже клонится к закату, мама. Пятый час.

— Пегги, правда ведь не стоит ему сегодня продолжать? Вот так, бывало, его отец — заупрямится и не уйдет с поля, а потом его рвет всю ночь. Ни себе, ни другим не радость.

— На когда же откладывать? — сказал я. — Завтра ведь воскресенье.

— Ну и что ж, что воскресенье? — спросила Пегги, отмахиваясь от комаров.

— Мама никому не позволит работать в воскресенье, — ответил я.

— Так, так, — сказала мать. — Смейся над старухой и ее предрассудками.

Пегги спросила:

— Вы в самом деле считаете, что в воскресенье нельзя работать?

На этот раз я как будто выставил напоказ мать. Она сказала:

— В наших местах это не принято. Но, впрочем, заросшее травой поле глупой старухи подобно...

— Подобно чему? — спросил Ричард.

— Это из Библии, — сказала ему Пегги.

Мать продолжала:

— Словом, как хочешь, Джой. Но, по-моему, ты уже довольно поработал. Остальное доделает Сэмми, или, если тебе уж так хочется кончить самому, можешь в будущую субботу приехать еще раз.

— Но это же глупо, — возразила Пегги, встревоженная такой перспективой.

Мать сердито обернулась к ней.

— Глупо или не глупо, а когда у моего сына такое лицо, значит, пора ему кончать работу.

— Какое это у меня лицо? — спросил я.

— Бледное, воспаленное.

— Уж что-нибудь одно — или воспаленное, или бледное. Будет дождь; я хочу кончить хотя бы большое поле, пока он не полил. Не лишай меня возможности погордиться делом своих рук. Мне только нужна отцовская шляпа.

— Отец никогда не носил шляп. Как ты мог позабыть это?

— Дайте я буду косить, — сказала Ричард.

— А что в самом деле, — сказала мать. — Пусть мальчуган пройдет ряд-другой. Ты ему покажи управление, а сам сядешь под грушей и будешь за ним присматривать.

— Ни в коем случае, — сказала Пегги.

— Ой, ну мам! Позволь! Я осторожно.

— Зачем ты его дразнишь? — сказал я матери. — Вот теперь он не успокоится.

— Я и не думала дразнить. Если я в пятьдесят лет могла выучиться, Ричард и подавно может. Ездить на велосипеде в нью-йоркской толчее куда мудренее.

Я возразил:

— Велосипед останавливается, как только ты захотел остановиться. А для трактора требуется целая система новых рефлексов.

— Ой, ну пожалуйста, пожалуйста. — Ричард весь трясся, как крышка на котле, в котором закипела вода; в его умоляющем взгляде, обращенном к Пегги, я уловил смесь робости и нетерпения, напомнившую мне его отца.

— Зря только расстроили мальчика, — сказала матери Пегги. — Об этом и речи быть не может.

Мать скривила рот в коротеньком смешке, всегда служившем ей самозащитой.

— Любой деревенский мальчишка его лет — уже давным-давно работник в доме.

— Он не деревенский мальчишка, — вставил я.

Мать охотно обратилась ко мне в попытке извернуться, задав совсем уж нелепый вопрос:

— Как же Ричард будет справляться с нашим семейным святилищем, если он даже трактор водить не умеет?

Но тут вмешалась Пегги:

— Ричарду ни с чем таким справляться не придется. Не рассчитывайте сделать из него второго Джоя.

Жестокость этого отпора была неожиданной и ненужной. Мать сразу сникла, видя, что хитрость не удалась, и сказала тихо:

— Милая Пегги, мне и одного Джоя довольно.

— Мне, пожалуй, тоже, — подхватил я.

Но ни та, ни другая не засмеялась, ни та, ни другая не взглянула на меня.

Ричард слушал, не понимая, что судьба его уже решена. Он стал дергать Пегги за нижнюю половину ее одеяния.

— Mam, ну я только поучусь немножко. Урок первый, Leçon Premiere. — Он подражал диктору телевизионного курса французского языка, который они слушали вместе еще до меня.

Она присела перед ним на корточки и обняла его своими длинными руками; бедра ее раскорячились, в углублении между грудями кожа была влажной.

— Ладно, можешь влезть на сиденье и подвигать рычагами — только при выключенном моторе. Но сперва помоги бабушке снести в дом продукты, которые вы купили.

— Вот это будет правильно, — сказала мать.

Я затаил дыхание, чувствуя, как легко сделалось у меня внутри, лишь только распался затянувшийся было вокруг меня живой узел. Ричард сел в машину, и мать повела ее к дому. Я крикнул им вслед, чтобы поискали какую-нибудь шляпу. Пегги снова взялась за мотыгу, я протянул руку и остановил ее.

— Прости, — сказала Пегги. — Она меня разозлила.

— Тут уж ничего не поделаешь. Ты очень хорошо вышла из положения.

— Я и сейчас не перестала злиться.

— Злись лучше на меня.

— На тебя я тоже злюсь.

— За что?

— От тебя никакой помощи. Ждешь, пока мы не сцепимся, а потом начинаешь нас мирить.

— Я держал твою сторону.

— Что-то я не заметила.

— Не мать же придумала, чтобы ему сесть на трактор, он сам стал проситься.

— А она подхватила. Идиотская затея.

Слово «идиотская» показалось мне лишним.

— Это ведь верно, что здесь все ребята работают на тракторе с малых лет.

— Идиотская затея.

— Ответь мне на один вопрос. Спала ты с Маккейбом после развода?

Пегги удивленно воззрилась на меня и перепачканной рукой откинула назад волосы, оставив на лбу грязный след.

— Почему ты вдруг об этом спрашиваешь?

— Ричард мне радостно сообщил, что папа иногда оставался у вас ночевать.

Когда Пегги не улыбается, левый уголок ее рта оттянут вниз, и это придает лицу брезгливое выражение.

— Опасаться мне было нечего. Я его знаю. И я считала, что так будет лучше для нас обоих.

— Еще бы.

Она пожала плечами в ответ на то, что прочитала в моих глазах.

— Простая бумажка не может сразу все зачеркнуть, что было.

— Это я знаю. Очень хорошо знаю. Ты забываешь, что у меня была полная возможность убедиться в этом.

— Вот и нечего на меня так смотреть.

— Я никак по-особенному на тебя не смотрю. Я просто смотрю и вижу, что ты очень красива, тебе даже и ни к чему такая красота, а мне всегда жаль, когда что-нибудь пропадает впустую.

— Что ж, можешь считать, что я не хотела пропадать впустую.

— Но ты тогда и с другими мужчинами встречалась.

— Тогда — нет. Это ведь было вскоре после развода. Это очень давно было, Джой.

— Почему же Ричард так хорошо это помнит?

Она посмотрела вниз, туда, где рукоятка мотыги упиралась в празднично торчащее острие, и я так ясно увидел, что она лжет, как будто это было написано у нее на лбу грязным мазком, похожим на хвост кометы.

— Странное дело, — сказал я. — Почему-то мне все равно, если бы другие, а вот если Маккейб — не все равно, хотя он мне даже понравился, этот твой Маккейб.

— Других ты не знаешь, и они для тебя просто не существуют, — сказала она и, спохватываясь, что объяснение вышло не совсем ловким, добавила: — Для меня они тоже не существуют, теперь, — и потянулась поцеловать меня. Я не отстранился; ее губы на вкус были как горсть тепловатой земли. Она закинула руки мне на плечи, свои длинные, в светлых волосках руки,

которыми она только что обнимала Ричарда, и шепнула чуть слышно: — Слушай, Джой. Это все было, когда я даже не была знакома с тобой, огорчаться из-за этого — все равно что огорчаться из-за чего-то, случившегося до твоего рождения. Разве ты не чувствуешь, что я люблю тебя?

Мне хотелось точности.

— Я чувствую, что ты женщина, которая любит, а я случайно оказываюсь с тобою в одной постели.

— Нет, — сказала она. — Тогда я была бы просто шлюхой, а на самом деле это ты, только ты делаешь меня женщиной, которая любит, потому что ты умеешь принимать любовь. Этому тебя научила мать, и это чудесно.

— Это дар слабых натур, — счел я нужным ответить.

По дороге шел Ричард со шляпой в руках. Шляпа была не отцовская, а материна — большой блин из плетеной соломы, подвязывавшийся ленточками под подбородком и для верности еще закреплявшийся бечевкой. Такие шляпы носят азиатские кули. И Ричард и Пегги расхохотались, когда я ее надел. Только этой детали недоставало моему шутовскому наряду. Мы с Ричардом пошли к недокошенному полю, лежавшему за дорогой, там я помог ему взгромоздиться на тракторное седло и, не включая зажигания, стал показывать, как работают педали и различные рычаги управления. Под облачным небом он восседал на тракторе, как на троне — маленький король с ямочками на щеках, — и был, видимо, совершенно счастлив. После окончания урока он побежал к матери на огород. Мне видно было издали, как он ткнул ее в живот кулаком и завязалась шуточная схватка. На одиноком проводе, по которому шел в дом электрический ток, знаками препинания невидимой фразы чернели воробьи и дрозды. Я сел на трактор и снова начал косить. Цикорий и златоцвет свернули свои лепестки, словно сжались перед угрозой дождя. Луч предвечернего солнца, прорвав клубы облаков, отбросил на землю мою карикатурную тень с огромным шаром вместо головы. Под шляпой было темно и уютно гудело. Я дал четвертую скорость и пустился с дождем наперегонки. Один раз левое колесо у меня попало в нору сурка, и от толчка я чуть не слетел с сиденья. Одинокий сарыч, неподвижно паря под облаками, следил, как я атакую две последние вражеские фаланги, два узких участка нескошенной травы. Но вот на плечо мне упала капля, другая стукнула в шляпу, точно кто-то ковырнул соломинку ногтем. От одной фаланги уже оставался только вытянутый треугольник, вторая приняла смутные очертания песочных часов. Я направил трактор к самому острому углу треугольника, вернулся по гипотенузе и снова поехал обратно. Большая тяжелая капля шлепнулась на капот и сразу же испарилась. Еще одна. Ричард уже бежал по дороге к дому, но Пегги продолжала орудовать мотыгой. Дождь, возвестив о себе, колебался, медлил; я покончил с треугольником и принялся за песочные часы. Клочковатая дымно-сизая туча неслась за мной по небесным просторам в переливах жемчужных полос. И вот дождь, глубоко вздохнув напоследок, сорвался с высоты, сперва сдержанно, осторожно, словно из пульверизатора окропил землю, но тут же забарабанил во всю мочь, и сразу шляпа моя обвисла, комбинезон намок, беспомощно сникли закрытые чашечки цветов, трава заблестела, клонясь под хлесткими струями. Я повел оскользящийся трактор через перехват песочных часов, рассекая последний участок пополам, так что остались лишь два небольших треугольника. Разворачиваясь в последний раз, я с удивлением заметил за полем, на дороге, человеческую фигуру — Пегги стояла на ветру, под дождем и смотрела, как я докашиваю поле. В руках у нее все еще была мотыга, рыжие волосы прилипли к темени и прямыми прядями струились вдоль щек, а на отважно подставленном дождю лице с полузакрытыми веками, с чуть растянутыми, как для улыбки, губами застыла спокойная готовность, как на лицах умерших. Я с грохотом выехал на дорогу, в том месте, где почти у самого поля проходила глубокая колея, и закричал Пегги, что она сумасшедшая, но она даже не улыбнулась. Она просто пошла за трактором, как скованная рабыня за триумфальной колесницей, не поднимая глаз, осторожно переставляя сияющие



босые ступни по сине-багровой глине и камням, которые дождь мгновенно успел отточить. Я был так взволнован ее преданным ожиданием, мыслью о ее теле, из-за меня исхлестанном дождем, что мечтал об одном — поскорее въехать под навес и, соскочив с трактора, схватить и повалить ее прямо на труху, на комья сухого навоза, чтобы они черными лепешками пристали к ее мокрой белой коже. Но навеса теперь не было, а когда я наконец загнал трактор в его узкое стойло, Пегги уже приближалась к дому, медленно пересекая зеленую лужайку, по которой когда-то бежала под дождем моя мать, обгоняя отца. День был окончен.

В доме пахло мокрыми волосами Пегги. Мать вишневыми поленьями растопила камин, и моя жена, уже не в бикини, а в комбинации, отделанной кружевом сверху и снизу, с голубым полотенцем на плечах сидела нога на ногу перед огнем и сушила волосы. Голову она опустила так низко, что казалось, пламя вот-вот всосется в концы свешивавшихся покрывалом волос, а пальцами вслепую массировала кожу на темени. Поленья потрескивали, распадаясь. Ричард читал книжку; одна нога у него была перекинута через ручку кресла и качалась, как маятник. Дождь шумно дышал за стенами, по-хозяйски окатывал стекла окна, выходящего на задний двор, живыми искорками сверкал в зыбкой зелени виноградной завесы над окнами, обращенными к лугу. В кухне мать расставляла тарелки на столе.

— Может, они не захотят ужинать так рано? — спросила она шепотом, когда я проходил через кухню к лестнице, ведущей наверх.

— Спроси их, — сказал я коротко. На огороде мать сумела одержать верх над Пегги, заставила ее обнаружить свои слабые стороны, и это вывело меня из терпения. Вовсе я не желал, чтобы она делала вид, будто мы с ней в заговоре против двух чужаков. Довольно с меня этих фокусов.

Но когда я уже поднимался по лестнице, до меня донеслись голоса: мать что-то спросила, а Пегги весело ответила ей; слов нельзя было разобрать, но я почувствовал себя лишним, и меня прохватил неприятный холодок. В спальне я снял с себя мокрую одежду и голый сновал по комнате среди призраков, теснившихся со всех сторон. Вот эта стертая половица молча хранит свою тайну — на этом самом месте моя бабушка, попытавшись встать с постели, упала и умерла. Вот из этого окна по-прежнему видно лужайку, конюшню и дорогу, как и тогда, когда мой дедушка смотрел в него, поджидая «неторопыгу», какой называл почтальона. В ящиках соснового комода еще и сейчас хранятся оставшиеся после него пожитки и его дневники, тощие красные книжицы, где он год за годом делал записи о погоде, и почти ни о чем больше. В день рождения моей матери, чуть не стоившего жизни бабушке, его жене, он записал только: «Родился ребенок». С отцовского комбинезона, когда я развешивал его для просушки на двери ванной, капала мне на голые ляжки холодная вода. Джоан все так же смотрела куда-то вверх, приоткрыв рот с застывшей на нижней губе блестящей влаги, вечно неся в себе зачатое дитя. Я не стал вытираться полотенцем — я люблю, когда тело просыхает, и не только из-за самого ощущения испаряющейся влаги; мне приятно думать о том, как она легко и свободно меняет свое материальное бытие, о сложной топографии стихий, позволяющей воде перетекать в воздух. Даже обыкновенная пыль, взлетая над старым диваном, кажется мне ангелом-хранителем этого дивана, а цветочная пыльца, от которой я неудержимо чихаю, — дрящимся в воздухе существованием цветка. Сухой, большой, гладкий, под чуть косящим взглядом широко раскрытых глаз моего детского «я» на стене, я надел белье, спортивные брюки, скользкие на ощупь, вынул носки — Пегги аккуратно скатала каждую пару отдельно, — мокасины и чистую белую сорочку. В сорочку была вложена серая картонка, чтобы она не мялась, но казалось, будто наоборот, это картонка бережно завернута в сорочку.

Мать приветствовала меня возгласом:

— А вот и мой городской фронт!

В торговом центре она купила стручкового гороху и теперь лущила его за кухонным столом. Вынутые из стручка горошины мелодично звякали, падая в дуршлаг. Я подсел к столу с другой стороны и стал помогать матери. Этим я как бы предлагал ей мировую. Она сидела, согнувшись над горохом, и поначалу словно не замечала меня. Покончив с кучкой, которую я себе отсыпал, я встал и потянулся достать еще. Тут только она подняла на меня глаза.

— Я тебя все хочу спросить — как там они все?

— Кто это «они все»?

— Дети твои, кто ж еще! Или ты уже забыл, что у тебя есть дети? Энн, Чарли, Марта.

Зеленые, точно восковые, пухлые шарики, сдавленные чуть ли не в кубики теснотой стручка, скатывались по моему большому пальцу и скоплялись на ладони горсточкой. Я со звоном бросил их в дуршлаг и осторожно ответил:

— Очень хорошо. Им нравится там, в Канаде, и они очень радовались, что едут.

— Хоть и без тебя?

— Как же я мог с ними поехать? Я, кажется, собирался жениться.

— Не надо так кричать. У меня много немощей, но я еще не глухая.

— Хорошо, не буду.

— Не знаю отчего, — продолжала мать, — но мне Чарли запомнился лучше девочек. Такой был энергичный маленький человечек.

—

Был?

— Для меня — был. Вряд ли я его еще когда-нибудь увижу.

— Что за чепуха! Конечно, увидишь.

— Я думала, он будет фермером. Он прямо как создан для этого — коренастенький, ручонки сильные, цепкие.

— Да, ростом он не вышел, но зато крепыш.

— Я и говорю. Его как поднимешь — помню, кажется, это было, когда ты с ним первый раз сюда приезжал, я иду мимо, а он сидит в дедушкином кресле и словно замечтался о чем-то. Я подумала: «Ах ты мой колобочек!» А подняла — он весь выгнулся у меня в руках, да с такой силой — не понравилось ему.

Я засмеялся.

— Это было до или после того, как ты его ударила линейкой?

— Не я его, а он меня ударил. Но, кажется, это было до, хотя в тот же самый ваш приезд — а может, и нет, не скажу наверно. Только я очень хорошо помню, как он на меня тогда посмотрел — мол, с какой стати эта старушенция нарушает мой покой.

— Да, у него была такая странная привычка. Одна из теток Джоан считала это признаком

слабоумия, потому что нормальный ребенок не может так долго сидеть смирно.

— Он сидел смирно, потому что думал о чем-то своем, и, значит, у него было о чем думать. Он особенный был парнишка, я таких больше не видала.

Слово «парнишка» точно слетело с языка моего деда.

— А я?

Мать ответила не сразу.

— Нет, ты никогда не был задумчивым. Ты был чувствительным. С первого ясного августовского дня ты как начнешь чихать, так, бывало, не перестанешь до самых холодов. Чихаешь до того, что слезы из глаз, даже ресницы склеиваются, я просто не знала, что мне с тобой делать. Характером Чарли больше в Джоан — та же отпугивающая замкнутость, то же невысказанное упорство.

— Упорства в ней было много. Но упорство скорее пассивное, она никогда первая не начинала.

Мать, почуяв опасность, рубанула ребром ладони воздух, как бы отсекая направление, куда я попытался ее повернуть. Мне до смерти хотелось перевести разговор на себя.

— Ох, Чарли, Чарли, — сказала она. — Я все представляла себе, как он терпеливо ждет урожая, а когда придет пора уборки, все у него так и горит под руками, недаром они такие сильные и цепкие. В нем есть то, что моя мать называла живинкой. В ком этой живинки нет, как вот у моего отца ее не было, тот лучше с фермой не связывайся. Он и постарался развязаться с ней, правильно сделал. Я ему этого всю жизнь простить не могла, а напрасно.

— Чарли беспокоит меня, — сказал я. — Ему, видно, все это тяжелее далось, чем девочкам.

— И девочкам тоже нелегко далось, — возразила мать, — только они это лучше сумели от тебя скрыть. Ты себе почему-то забрал в голову, что женщинам приятно страдать. Не знаю, откуда у тебя эта идея, не от меня, во всяком случае. Так вот, вовсе им это не приятно. Просто их меньше жалеют, чем мужчин, а почему — потому что женщина рождает детей, и когда она кричит от боли, то всем кажется, да и ей самой, пожалуй, тоже: зато будет ребенок, а раз ребенок, значит, это так и надо. А почему, собственно, так и надо, я не знаю.

— Мне кажется, — сказал я, — из всех троих на меня больше всего похожа Энн.

Ее лицо, лицо Энн, некрасивое, но прелестное своей ясностью, ее длинные прямые ноги, манера восторженно разевать рот на бегу — все вдруг точно ожило в моей памяти после долгого наркотического забытья, хотя я никогда ее не забывал, ни имени ее, ни дня рождения, ни того, что она вообще есть на свете. И Чарли тоже вдруг глянул на меня. Что это он делает — ест мороженое? В его темных мальчишечьих вихрах каждый волосок серебрился как шелковинка (Энн дразнила его Мускусной Крысой). А серые глаза смотрели настороженно, и в складочках по углам глаз была недетская умудренность, но полные губы подрагивали, готовые улыбнуться на шутку, хотя, судя по выражению его лица, я то ли разбил его, то ли огорошил чем-то неожиданным; он, мой сын, всегда склонен был верить в лучшее, воспринимать все неприятности — разбитые коленки, пристававшая сестры, мои отъезды — как случайные нарушения налаженного порядка вещей. Он любил порядок, аккуратно складывал свои вещи и вообще обращался с ними не в пример бережливее, чем Энн. А Марта, моя малышка, — эту я не столько мысленно видел, сколько ощущал тяжесть ее тела, когда я, бывало, выну ее, сонно виснущую у меня на руках, из новенькой голубой кровати, и смятая ночная рубашонка, бумажная ткань которой кажется шелковой от близости к ее коже, завернется до пояса, открывая то, что под нею, светлое, как молодая луна. Я нес

ее в ванную, подпирая плечом никнущую головку, сажал на горшочек, а сам, присев на край ванны рядом, чтобы она могла положить голову мне на колени, ждал, когда раздастся журчанье и потом негромкий всплеск.

— Бедная Марта, — сказал я.

— А что Марта — она, пожалуй, самая боевая из всех.

— Будет наливать в постель.

— Ничего подобного. Она умница. Они все трое умницы, прекрасные дети — верно, Пегги?

Моя жена вошла в кухню и подошла ко мне. Я поднял на нее глаза; снизу она казалась необыкновенно высокой, рос у нее был немножко крючком, сырые еще волосы висели более длинными прядями, чем обычно.

— Да, ребята славные, — ответила она матери. — Мне тоже очень грустно о них думать.

— И напрасно. Мы, напротив, разговариваем о них с большим удовольствием.

— Джой весь измотался из-за детей. — Мое слово «измотался» вышло у матери невыразительным, как будто она сознавала, что повторяет чужое.

Пегги продолжала:

— Вы меня простите, но я не понимаю, зачем было поднимать этот разговор. Джою нужно отдохнуть.

— Отдохнуть от мыслей о собственных детях?

— Хорошо, скажу яснее: пожалуйста, не затевайте разговора о детях, так как вы это делаете, чтобы задеть меня. А Джою это очень тяжело.

— Что за выдумки! Если я говорю о детях, Пегги, так лишь потому, что я вздорная старая гримза, и потому что теперь, когда я не могу их видеть, мне ведь только и остается, что говорить о них. А мне так нравилось быть бабушкой, для меня это было утешением, я даже не думала никогда, что способна на такое чувство, сама не знаю почему. А теперь мне только и остается, что говорить о них. Отец может поехать к ним, когда ему захочется, но я-то уж не надеюсь когда-нибудь еще их увидеть. Ни здесь, на бабушкиной ферме, ни в другом месте.

— Увидишь ты их, очень скоро увидишь, — поспешил я сказать, испугавшись, что она сейчас расплачется. — Я их к тебе привезу в начале осени, как только мы все окончательно вернемся в город.

— Твоя жена будет против, — возразила мать. Казалось, от застрявших в горле слез слова у нее выходят какими-то сдавленными. — А в Писании сказано: прилепись к жене твоей.

— Я и прилепился, — сказал я. — Но тем не менее я вполне уверен, что ты увидишь моих детей.

— У меня такой уверенности нет, и, уж если на то пошло, Джой, я даже не уверена, что ты сам еще сюда приедешь. — Она повернулась к Пегги и добавила: — А за этот раз, Пегги, спасибо. И ты очень хорошо справились с прополкой.

— Может быть, я ошибаюсь, — сказала Пегги. Ее наработавшиеся руки тяжело висели вдоль бедер, касаясь кружевной оторочки. — Но я хорошо знаю, как Джой грызет себя из-за детей, потому и не могу слышать о них спокойно.

Мать посмотрела на меня, потом на мою жену, потом опять на меня. Потом, вздохнув, уперлась ладонями в стол и встала так медленно, что, казалось, она постепенно вырастает над своим стулом. Вот так, при перемене позы, ей иногда случается найти неожиданные слова, которыми она сразу может снять, если захочет, гнетущую меня тяжесть.

— Что ж, — сказала она, — мои родители всю жизнь прожили вместе, хоть не были счастливы, но, сказать по правде, не так уж я им благодарна за это.

Она отвернулась к плите и занялась стряпней. Пегги предложила свою помощь, но мать сказала, что ей совестно взваливать всю работу на гостью. Что-то в ней показалось мне странным, когда она стояла у плиты — грузная, вся обмякшая, в лице никаких красок; я подумал, может быть, у нее что-то болит. Мне всегда было трудно представить себе, что родители могут испытывать боль, так же, как трудно вообразить жизнь в других мирах, за пределами нашего мира. Дождь сек, ласкал, обнимал дом, заставлял откликаться все его деревянные части, скорлупкой пускал его по волнам блестящей травы. Я стоял у окна и смотрел на ближнюю рощу. В той стороне, откуда вчера доносилось уханье совы, урчал гром. На клумбах запущенного цветничка побитые дождем флоксы роняли, как монетки, белые лепестки, а в траве, разросшейся вокруг блеклой мальвы, висели маленькие оранжевые штучки, похожие на бумажные фонарики; я с тех пор, как уехал из Пенсильвании, нигде таких цветов не встречал. На мой вопрос, как они называются, мать сказала: «Не знаю. У нас они назывались японскими фонариками, а во время войны стали говорить — китайские фонарики. Теперь, наверно, они опять японские». Это окно выходило на самую тихую сторону, где днем Пегги принимала солнечную ванну на мягкой травке, и на подоконнике раскинулся целый игрушечный город из коробок с корнфлексом, собачьими галетами и кормом для птиц; а городскими воротами служил керамический столовый судок, пятнадцать лет назад присланный мной в подарок из Кембриджа и ни разу не бывший в употреблении. Оттого что мне редко приходилось смотреть в это окно, оно приобретало волшебные свойства. По стеклу амебами ползли капли, сливались, и вновь разливались, и толчками стекали вниз, а на проволочной сетке от насекомых дождь выложил прихотливую мозаику из крохотных кусочков прозрачной смальты, похожую на недоконченный узор для вышивания или решаемый невидимым любителем кроссворд. Какое-то физически ощутимое просветление вдруг снизошло на меня и заставило отойти от окна. Я старался не попасться на глаза матери, потому что мое лицо, ничего не умеющее скрыть, опять бы выдало меня ей целиком. Обойдя сторонкой плиту, на которой что-то успокоительно квохтало, я пошел в гостиную.

Пегги снова сидела, скрестив ноги, перед камином. Она посмотрела на меня слезящимися от жары глазами. Ричард захлопнул книгу и перестал качать ногой.

— Чудной конец, — сказал он.

— Это что, все тот рассказ про мальчика, у которого был гигантский КУС?

— Да. В три года он заново открыл всю геометрию, потом вообще всю математику открыл заново и, наконец, спросил кого-то, сколько нужно времени, чтобы линия, проведенная вверх, вернулась к своему началу снизу. Это из теории относительности, понимаешь?

— Неужели?

— Точно. Эйнштейн доказал кривизну пространства.

— Да, до этого своим умом дойти — дело нешуточное. Так что же случилось с тем мальчиком?

— Я же говорю, конец чудной. Он стал кретином. Просто сидел и не двигался с места, ни на что не смотрел, и на последней странице его мама радуется, что он научился держать вилку и класть ею пищу в рот.

— Как та линия, что вернулась сверху к своему началу.

— Это мне не пришло в голову.

— Брось, пожалуйста, эту книжку, — сказала Пегги из-под завесы просыхающих волос. — Такое чтение вредно отзывается на психике.

— Когда-то я то же самое говорила Джою, — крикнула из кухни мать.

— Однако психика у меня вполне здоровая! — крикнул я в ответ.

Пегги расхохоталась.

Ужин появился на столе раньше, чем можно было ожидать: горошек, отварной картофель, посыпанный зеленью петрушки, и консервированная ветчина, которую мать попросила меня нарезать. Нож оказался на удивление острым. Отец всегда держал в порядке ножи и всякий свой инструмент; вероятно, из него вышел бы добрый мастер, займись он каким-нибудь ремеслом, но, как и мне, ему предназначено было всю жизнь иметь дело с неосязаемыми ценностями. Когда я всех оделил ветчиной, мать спросила Ричарда, кем он хочет быть.

— Как это? Я не совсем понимаю.

— Ну, когда вырастешь. Хотел бы ты жить в Нью-Йорке и заниматься тем, чем занимается Джой? Мне, правда, не очень-то ясно, что он делает, никак не добьюсь, чтобы он толком объяснил.

Я ей объяснял много раз. Я служу в фирме, которая разрабатывает для корпораций программы по таким вопросам, как сокращение налоговых платежей, заокеанские капиталовложения, получение правительственных подрядов или автоматизация. Моя специальность — финансовая реклама, что шире можно определить как создание идеального образа корпорации в целях привлечения средств. Матери хотелось, чтобы я стал поэтом, вроде Вордсворта. Она редко читала стихи, но у нее было четкое догматическое представление о важности поэзии. Вопреки настояниям отца, чтобы я шел в инженерный колледж, меня отправили в Гарвард, так как по числу вышедших из его стен поэтов, от Эмерсона до Элиота, Гарвард стоит среди американских университетов на первом месте. Бедный мой папа, он не знал, что в нашем мире, если взяться за дело с умом, скоро можно будет зарабатывать на изучении древних саг больше, чем зарабатывают рядовые инженеры. Сам не знаю, в какой момент своей жизни я отказался от притязаний на поэтическую карьеру — и отказался ли полностью. Во всяком случае, в моей женитьбе на Джоан немалую роль сыграло то обстоятельство, что при первой нашей встрече, когда она выехала на велосипеде из осенних сумерек парковой аллеи, легкая, нездешняя, вся словно ушедшая в себя, она мне напомнила девушку из «Одинокого жнеца», а при ближайшем рассмотрении оказалась похожей на бледную Люси, чью кончину я бы мог достойно воспеть.

— Его отец принадлежит к академическому кругу, — сказала Пегги.

— Ты хочешь сказать — он ученый? — Не дожидаясь ответа, мать уверенно продолжала: — Склонность к науке у Ричарда есть. Меня в его годы тоже, бывало, от книги не оторвешь, но я читала много потому, что жизнь казалась мне слишком тяжелой — а тебе ведь так не кажется, Ричард?

— Не тяжелая она, а просто скучная, — сказал Ричард.

— Еще бы, — сказала мать, — когда живешь в городе, где воздух кондиционирован и все времена года похожи друг на дружку. Здесь, на ферме, у меня каждую неделю новости, каждый день перемены. То в поле мелькнула новая мордочка, то птицы запели по-другому, и

ничто не повторяется. Природа не знает повторений; такого вот августовского вечера еще никогда не было и никогда больше не будет.

Она себя заметно настраивала на печальный лад, и я, чтобы помешать этому, сказал не без озорства:

— А тебе хотелось бы, чтобы Ричард стал поэтом?

Она ответила:

— Нет, когда-то я мечтала о такой судьбе для другого мальчика, а я тоже не люблю повторяться. Мир с тех пор очень изменился. Так мало осталось профессий, которые бы что-то давали душе.

— Я бы, пожалуй, хотел стать селенографом, — сказал Ричард.

— Это что такое? — спросила мать, орудуя ножом и вилкой, с настороженностью человека, подозревающего, что его разыгрывают.

— Лунный географ, — объяснил Ричард. — На Луне понадобятся географы, чтобы составлять карты лунной поверхности.

— Ты бы мог специализироваться на теневой стороне, — сказал я.

— А там как раз и будет установлен мощный телескоп. Знаете почему?

— Почему? — спросила Пегги после паузы.

— Потому что на стороне, обращенной к нам, слишком сильно земное сияние. Земное сияние, — пояснил он моей матери, — это все равно что лунное сияние, только наоборот. Оно тоже голубое.

Мать ничего не сказала в ответ, но я всей своей словно иголками истыканной кожей чувствовал, что она помрачнела, как будто увидела в этом нашем отрыве от земли, ее земли, лично ей нанесенное оскорбление.

Я спросил:

— А не холодно там, на теневой стороне?

— Нет, нужно только зарыться поглубже. На глубине пятидесяти футов под лунной поверхностью удерживается ровная температура — около десяти градусов по Цельсию.

Мать явно принимала интерес Ричарда к лунным делам как личную измену. Она молча сгорбилась над своей тарелкой, тяжело и медленно дыша, крылья носа у нее побелели.

Пегги почувствовала, что что-то не так, и из вежливости спросила:

— Вам бы хотелось, чтобы Ричард стал фермером?

Мать подняла свою массивную голову. На лбу у нее были капельки пота.

— Для этого, пожалуй, нужно больше воображения, чем ему разрешается иметь.

Я горячо вступился:

— Ну, знаешь ли, его воображению никто преград не ставит. Он — первый в Америке юный еле... селе... селенограф. — От негодования у меня даже язык стал заплетаться.

Пегги провела руками по волосам, плотно прижимая их к черепу.

— Не понимаю, что вы хотите сказать.

Она произнесла это мелодичным, волнующим, неестественным голосом — голосом манекенщицы. После развода с Маккейбом она время от времени обращалась к профессии манекенщицы, участвовала в выставках мод, но никогда не снималась для журналов. Фотографии слишком подчеркивали ширину ее бедер, а ее крупно вылепленное, как у боксера, лицо выходило асимметричным.

— Извини, Пегги, я вижу, какие ты над собой делаешь усилия, но их делаешь не только ты. И нечего тебе ревновать ко мне мальчика.

— Ревновать? Что за бред!

Мать повернулась ко мне и сказала, словно диктуя своему биографу:

— Она отняла у меня внучат, она сделала из моего сына какого-то кривляку с сединой в волосах, а теперь она не дает мне приласкать этого несчастного, замороченного мальчугана, который так нуждается в сердечной заботе.

— О нем достаточно заботятся, — сказала Пегги.

— О, я не сомневаюсь, что ты выполняешь все предписания доктора. Но я имею в виду нечто менее формальное.

— Я пять лет растила его без отца и неплохо вырастила.

— А почему вообще понадобилось, чтобы он рос без отца?

— Я бы вам объяснила, да вы ведь слушать не станете.

Мать пожала плечами.

— Чего только мне на моем веку не приходилось выслушивать.

Она уже успокоилась, мрачная тень исчезла с лица; я понял, что вспышка помогла ей разрядиться.

Но теперь я испугался за Пегги — вдруг она не рассчитает шага, споткнется и упадет. Спасение сейчас в ее быстроте, быстроте молодости; их ссора еще затянута сверху тонким ледком, и нужно, чтобы она сумела по нему проскользнуть.

— Что касается моих отношений с Джоем, — сказала Пегги, — то я первая женщина в его жизни, которая разрешает ему быть мужчиной.

Это был ее излюбленный мотив, найденное ею оправдание моему разводу.

— Быть может, — сказала мать, — мы по-разному понимаем слово «мужчина».

— Даже наверно так, если судить по тому, что вы сделали со своим мужем.

Снова мать повернулась ко мне и продиктовала дальше:

— Бедняжка Джоан иногда поучала меня, как стирать белье, но она по крайней мере никогда не бралась быть судьей в моей супружеской жизни.

— Ты сама виновата, мама.



Я уже сердился, потому что я видел, что Пегги вдруг потеряла весь свой запал и сникла. Глаза ее заволоклись слезами, голова упала на руки, пальцы судорожно впились в виски, волосы свесились наперед, как тогда у огня.

Снова она была беззащитна: снова, как вчера, мать коснулась ее испытующим взглядом и тут же с обидой перевела глаза на меня.

— В чем это я сама виновата?

— Ты как будто ищешь совета, участия. Разговариваешь так, словно сознаешь, что совершила тяжелую ошибку. Рассказываешь, как ты выхолостила отца, а когда с тобой в простоте души соглашаются — ты недовольна.

— Что значит выхолостила? — спросил Ричард.

Он инстинктивно принял на себя мою миссию — шуткой или посторонним замечанием нарушить установившийся зловещий однообразный ритм.

— Сделала таким, как мул, — ответил я ему.

Мать засмеялась.

— А в нем и в самом деле что-то было от мула, — сказала она, и вся посветлела, распрямилась, как будто это зоологическое сравнение давало ключ к одной из нерешенных загадок ее жизни.

Пегги подняла к ней лицо, жалобное и кроткое в дымке слез.

— Как вам не стыдно смеяться!

— А тебе как не стыдно плакать! Я всего только спросила, почему ты не хочешь подпускать сына к моему трактору.

— Мама, да ведь он уже

сидел на тракторе.

— Там четыре передние передачи, — начал Ричард, — и одна педаль включает сцепление, а другая приводит в движение косилку.

— Пегги, — сказала мать, — придется нам, видно, продолжить разговор о наших мужьях. Только не сейчас. Боюсь, мы испортим аппетит Ричарду.

— А вчерашнего пирога не осталось? — спросил Ричард.

— Тебе же он не понравился, — сказала мать.

Пегги, потянув носом, сказала:

— А вроде бы запахло чем-то вкусным.

И потянула носом еще сильнее — комедиантка, довольная успехом, потому что мы все рассмеялись, глядя на нее с любовью. А может быть, любовь существовала только в моей фантазии: мне всегда трудно было себе представить, что кто-то может увидеть Пегги и не полюбить, это часто вносило путаницу в мои расчеты. Весьма возможно, что мне удалось бы, оставаясь мужем Джоан, сохранить ее в качестве любовницы, пока не увянет ее красота. Но мое воображение терзала ревность; мир представлялся мне полным решительных мужчин, которым стоит увидеть ее длинные ноги, открытые выше колен завернувшейся юбкой, когда

она выбирается из такси, — и она немедленно будет похищена.

Атмосфера в доме дала трещину. Снаружи дождь все выбивал свою ласковую дробь, и в ней слышалось приглашение дружно посидеть у камина, где еще дотлевали последние непорочные угольки, но расстояния, легшие между нами, не сокращались, в воздухе висела обида, неумолчным тоненьким звоном отдаваясь у меня в ушах. Хряска трактора прочно вошла в мою плоть, суставы словно заржавели в монотонном движении, и, пытаюсь читать старый выдохшийся роман Вудхауза, я ощущал что-то вроде морской болезни.

— Джой, огонь заглох. Может, спустишься в подвал за дровами?

Это были первые слова, которые мать произнесла после ужина. Она мыла посуду, а Пегги с Ричардом сидели в гостиной на ковре и играли в «тише едешь — дальше будешь». Они откопали в шкафу покоробленную доску, а недостающие фишки заменили монетами и пуговицами. Стук костей, топот фишек по доске, выкрики и стоны игроков не столько мешали мне читать, сколько заглушали унылое дребезжание посуды на кухне, казавшееся мне долгой жалобой матери, которую я обязан выслушать. У меня отлегло от сердца, когда раздался ее голос.

Я успел позабыть наш подвал: жестянки с засохшей краской и со скипидаром, яблоки, консервные банки в коконах паутины, смутно пахнущая землей картошка в ящике, к которому мой отец, бывало, пристраивал поленницу дров, наколотых, но еще хранящих аромат зимнего леса, поблескивающая куча угля, приземистая печка с трубой, уходящей в сложный переплет алюминиевых труб под сводом подвала. Как-то мы с отцом целый день промучились здесь, заливая цементом сырой земляной пол. Я с удивлением обнаружил, что цементный настил цел и сейчас, не выбит и даже нигде не протекает — как будто самый тот день навсегда остался здесь гладью подземного озера, кладезем сокровищ, сокрытым в недрах дома.

Я принес наверх охапку дров и подтопил камин. Мать пустила всех трех собак в комнаты, и теперь они лежали на диване продолговатой грудой сырого меха и спали. Когда я вывалил поленья на каминную решетку, на диване приоткрылся один круглый блестящий глаз и послышалось чье-то чиханье. Пегги не подняла головы; только крутой изгиб ее бедер четче обозначился в отсветах вспыхнувшего огня. Перед ужином она успела переодеться наверху, и вместо комбинации на ней теперь был пушистый свитер и брюки из дымчато-синей эластичной материи под грубую ткань рабочих комбинезонов. Я вытер руки, к которым пристали кусочки коры, и снова взялся за своего Вудхауза. Странная тишина вкралась в комнату. Шум дождя перешел в невнятное бормотание. Ричард что-то шепотом сказал Пегги, но я в это время перелистывал страницу и не расслышал слов.

В кухне мать разбила тарелку. Чтобы не оставалось сомнений в том, что это не случайность, она после короткой, недоуменной паузы разбила еще одну; грохот на этот раз был чуть приглушенный, как будто тарелка ударилась об пол ребром.

Груда меха на диване зашевелилась и распалась на трех отдельных собак. Самая большая, оцетинясь и наострив уши, вскочила на подоконник и громко залаяла на воображаемого злоумышленника. Щенок — самая маленькая — затрусил на кухню, низко помахивая светлым кончиком хвоста, то ли в испуге, то ли в восторге. Пошли за ним и мы. Мать стояла посреди кухни, обеими руками прижимая к груди третью тарелку, вернее, небольшое овальное синее блюдо; очевидно, она и его собиралась бросить на пол, но заколебалась и упустила момент. Блюдо было из того сервиза, который она собирала когда-то в олинджерском кино. Вещь за вещь, вторник за вторником, пока не началась война. Зажмурившись, она крикнула хриплым, надрывным голосом:

— О чем вы там шепчетесь?

На опустевшем столе одиноко стояла фарфоровая белая сахарница, присланная мною из Сан-Франциско в подарок к какому-то семейному празднику. Пегги крикнула:

— Это что, игра такая? — схватила сахарницу и с размаху грохнула ее об пол. Сахарница зазвенела, но не разбилась, сахар струйкой дыма взметнулся вверх, выписывая призрачный вензель, и она мирно покатилась к буфету, подскакивая на ручках.

— Кто шепчется? — спросил я мать.

— Вы все. Я слышала, как Ричард шептал.

— Он просто спросил у меня, почему вдруг стало так тихо, — сказала Пегги.

— А вот почему?

— Вы сами знаете почему, — сказала Пегги. — Вы всем портите настроение, мучаете сына.

— Сына? Сын меня мучает. Он сказал, что я убила его отца.

— Вовсе я этого не говорил, — сказал я.

Мать повернула ко мне лицо, показавшееся вдруг огромным — так кажутся огромными скалы на берегу, когда волны прибоя, откатываясь, обнажают их запрокинутые, испещренные прожилками лица.

— Я устала от того, что все меня ненавидят, — сказала она. — Только этот мальчик еще и относится ко мне по-человечески, и я не хочу, чтобы он шептался обо мне.

— Никто тебя не ненавидит.

— Ну вот что, — сказала Пегги. — Я тоже устала от всего

этого. — Она оглянулась по сторонам, было ясно, что весь наш дом кажется ей лабиринтом, из которого нет выхода. — И Ричарду незачем находиться дольше в такой нервной обстановке. Джой, ты нас отвезешь домой, или мы поедем одни, а ты можешь вернуться завтра. Вы меня простите, миссис Робинсон, но я вижу, что от меня здесь никакой помощи, и нам обеим будет легче, если я уеду.

— Уже ночь на дворе, — сказал я.

Она ответила:

— Хочешь, едем с нами, хочешь, оставайся, твое дело. Я пять лет прожила одна и в отличие от некоторых мужчин не боюсь темноты.

— Браво, — сказал я. — Die Konigin der Nacht.[1]

— Я иду укладываться, милый. — Пегги пошла к лестнице. Дверца, закрывавшая вход на лестницу, подалась не сразу, и она, расставив ноги, натужив спину, с силой рванула ее на себя.

— Неверно это, что от нее никакой помощи, — сказала мать тихим, кротким голосом. Истерики как не бывало.

— Пойду уговорю ее. — Ричард старался говорить басовито, но не выдержал и сорвался на мальчишеский альти.

— А что ты ей скажешь? — Я завидовал Ричарду, мне самому хотелось пойти ее уговаривать.

Или, точнее, мне хотелось быть таким, как он, и пойти ее уговаривать.

— Не знаю, придумаю что-нибудь. — Он улыбнулся, показывая просвет между передними зубами. — Мне всегда очень быстро удается ее успокоить.

Когда он уже поднимался по лестнице, мать крикнула ему вдогонку:

— Ты скажи, что я давно уже собиралась выкинуть эти старые синие тарелки. — И добавила, обращаясь ко мне: — Они мне никогда не нравились, только вот что достались даром. Чего не начудишь от жадности.

— А знаешь что, — сказал я. — Давай выкинем все мои фотографии, они у тебя натканы повсюду.

— Посмей только тронуть. Эти фотографии — мой сын. Только они у меня и есть.

— Мама, ты говоришь совсем как на сцене.

С видом крайнего утомления, почти, впрочем, непритворного, так что она вправе была и посмеяться, и принять это всерьез, я вытащил из-за холодильника совок и щетку и подмел с полу синие черепки и рассыпавшийся сахар. Щенок прибежал помогать и вертелся вокруг, хлопотливо тычась мне в руку мокрым носом. Когда я выпрямился, мать, кончившая тем временем перетирать посуду, мотнула головой, указывая на безгласный потолок, и сказала:

— Купидон в беседе с Венерой.

— Если бы Джоан хоть раз в жизни сказала, что идет укладываться, мы бы, возможно, и сейчас еще были мужем и женой.

— Не знаю, почему ты считаешь, что с Джоан это я виновата.

— В чем виновата — что мы поженились или что мы разошлись?

— И в том и в другом. В точности как твой отец. Женщины устанавливают порядки, женщины рожают детей, всё женщины. Он, бывало, говорит: не помню, чтобы я тебе делал предложение, просто ты все это устроила.

Содержимое совка соскользнуло вниз и шлепнулось и мусорное ведро — дешевое рыночное изделие с намалеванными на помятых стенках букетами красных роз, перевитых золотыми лентами. Отец его выудил когда-то из брошенного реквизита старой школьной постановки. И, как многое из того хлама, что он спасал от свалки подобным образом, оно оказалось нелепо долговечным.

— Бедный Чарли, — сказал я. — Неужели и он когда-нибудь станет таким, как Ричард, — рассудительным маленьким мужем.

— Да, бедный Чарли. Как ты так мог, Джой?

— Я не мог иначе. Но все равно Чарли — мой сын, и он это знает.

Я стоял и смотрел в мусорное ведро, словно ждал, что груда черепков и обломков откроет мне, что же творится в душе оставленного мною сына; и поэтому я вздрогнул от неожиданности, когда мать, зайдя сзади, положила мне руку на затылок.

— Не слишком ли много печальных мыслей для такой небольшой головы?

На лестнице слышались шаги, и мы виновато отшатнулись друг от друга. Вошел в кухню Ричард и с торжеством объявил:

— Она остается.

— Чем же ты ее убедил? — спросил я.

— Сказал, что будет невежливо, если она уедет.

— Гениально. Мне бы никогда до этого не додуматься.

Мать спросила его:

— Что ты хочешь в награду?

Мальчик указал на меня:

— Он говорит, что у вас есть книжки про растения, где сказано, как что называется. Дайте мне, пожалуйста, почитать.

— Про растения. А про птиц не хочешь?

— Я думаю, лучше начать с растений.

— Вряд ли у меня что-нибудь есть, кроме разве одной старой затрепанной книжицы — «Полевые и лесные цветы» Скайлера Мэтьюза. Я ее купила, когда училась в педагогическом; помню, еще брала с собой в поле краски, чтобы раскрашивать иллюстрации в соответствии с натурой. Наверно, она и сейчас стоит на полке, где стояла, если только ее жучок не изъел.

— Я буду осторожен.

— Тебя какие же растения особенно интересуют?

— Особенно никакие не интересуют. Я просто начну сначала и буду читать подряд. Я быстро читаю. Прочту и тогда буду знать все растения, какие есть.

Мать улыбнулась и положила руку ему на темя.

— Боюсь, так у тебя ничего не выйдет, — сказала она. — Чтобы знать растение, надо его увидеть своими глазами, а в книжке много таких, которых ты никогда в жизни не встретишь. Разве только станешь ботаником. Или бродягой.

— Мы раз палатку ставили около озера, так там росла тьма-тьмущая чего-то красно-лилового.

— Не знаю, что бы это могло быть, — сказала мать. — Я никогда не жила у воды. В наших местах только у репейника красно-лиловые цветы. Можно посмотреть в книжке, нет ли у него каких-нибудь родственников. Да ведь там, кажется, есть указатель.

Они вдвоем пошли в гостиную. Я поднялся наверх. Ни в одной из спален Пегги не было. Я ее окликнул, и она ответила мне стуком из ванной комнаты. Через несколько минут она вышла, недовольная помехой.

— Фу, черт, как мне досадно, — сказал я.

— Из-за чего?

— Да из-за всей этой сцены.

— Не надо преувеличивать. По-моему, нам обеим было смешно, только мы не показывали виду.

Я усмехнулся.

— Не пойму, что у нее в мыслях.

— Совершенно ясно что. Ей на ферме нужен мужчина, а на тебя она уже не может рассчитывать и понимает это.

— Она и раньше не могла на меня рассчитывать. Я никогда не дорожил фермой.

— Неправда, ты и теперь ею дорожишь. Ты ею дорожишь так же, как мною. Тебе приятно, что она большая и ею можно похвалиться при случае.

Меня тронула эта скромность, это представление о себе, лишённое иллюзий и близкое к истине.

— Сама виновата, — сказал я. — Зачем ты такая, что тобой можно хвалиться?

— Дай мне, пожалуйста, пройти. Я иду вниз.

— Надеюсь, ты не собираешься больше ничего разбивать?

— Я собираюсь последовать твоему совету. Собираюсь быть такой, как я есть.

— Минутку, Пегги. Спасибо тебе, что ты не уехала.

— Я бы не оставила тебя здесь одного.

— Я бы уехал с тобой вместе.

— Я бы этого не допустила из-за твоей матери. Почему ты хоть раз не подумаешь о том, каково ей, вместо того чтобы в каждом ее жесте или слове искать угрозу.

— Если угрозу, то тебе.

Первый раз она взглянула мне прямо в глаза, в то же время подняв руку, чтобы отвести волосы со лба и пригладить.

— Отчего ты так враждебен? — И сама себе ответила: — Ведь ты хотел, чтобы я уехала.

— Ой, нет, нет! Ради бога, не бросай меня одного, — комически взмолился я.

Пегги улыбнулась и сказала:

— Что в тебе неотразимо, Джой, это что ты все-таки немножко подонок.

Она прошла мимо меня, показывая, что разговор окончен, и свет верхней лампы над лестничной площадкой упал на ее кожу. Кожа у моей жены такая, что стоит о ней сказать особо: чуть малейшее недовольство, она белеет, в час любви становится шелковистой, на солнце мгновенно прихватывается загаром — будто в ней всегда идет бурная пляска атомов. Руки Пегги покрыты веснушками и пушком и от этого кажутся длиннее, а их движения приобретают пугливую, угловатую грацию; пятки желтые и заглубевшие от модных туфель; живот такой белый, что голубоватые вены на нем кажутся прожилками в мраморе. А если я где-нибудь замечаю легкую красноту, говорящую о возрасте и утомлении, мне хочется нагнуться и поцелуями снять тяжесть прожитых ею лет — прожитых словно бы только ради того, чтобы встретиться со мной. У ее кожи тот теплый тон, который всегда казался мне тоном самой жизни, эта кожа как будто светится сама или же пропускает свет, разлитый под нею.

Когда она стала спускаться по лестнице, освещенной сверху, от надбровных дуг метнулась по ее лицу параболическая тень, а на оштукатуренной стене резко обрисовался ее профиль. Я пошел за нею вниз.

Мать и Ричард сидели среди собак на диване, склонясь над ветхой книжонкой с волнистыми страницами.

— Вьюнок, — говорила мать. — В наших местах его больше зовут березкой. Когда в поле заведется такая березка, фермеру одно горе. Потому что это первый знак, что земле пора отдохнуть.

— А тут написано convo... convolulus.

— Латинские названия всегда очень красивые. — Мать перевернула страницу и прочла: Phlox pilosa. Phlox divaricata. Phlox subulata. Флоксы еще иногда называют моховой гвоздичкой.

— Я часто думаю: а почему это не бывает зеленых цветов? Как те зеленые гвоздики, что вдевают в петлицу на день святого Патрика.

— Зеленые не выделялись бы среди листьев. Пчелы бы пролетали мимо, не заметив их. А цветы на то и существуют, чтобы приманивать пчел. Их яркая раскраска — все равно что красивые платья, которые носит твоя мама.

Только по ее последней фразе можно было догадаться, что наше возвращение не осталось незамеченным. Я опять принялся за Вудхауза, а Пегги стала собирать разбросанные фишки. В камине уютно тлели угли. Дождь теперь только моросил, неторопливо и негромко. Обе большие собаки запросились наружу. Мать и Ричард пошли запереть их в сарайчик, прихватив кастрюлю с их едой, а когда вернулись, покропленные дождем, Пегги сказала мальчику, что ему пора спать. Она попросила меня уложить его. Я как раз дошел в книге до эпизода с покражей премированной свиньи, в самом деле смешного, но послушно встал.

Когда-то Ричард стеснялся раздеваться при мне. Но это прошло, и теперь он, не раздумывая, стащил с себя тенниску с йельской эмблемой, сбросил стоптанные тапочки, которые носил на босу ногу, шорты, экономно перешитые Пегги из старых штанов цвета хаки, и эластичные трусы. Его упругие ягодицы были перламутрово бледны, зато остренькие плечи казались ореховыми от загара. Голый, он был похож на фавна, лишь по недоразумению очутившегося в этой комнате, оклеенной обоями, освещенной электрической лампой. Он мне показал царапины на ляжках и животе и объяснил, что исцарапался в кустах ежевики, куда полез с разрешения бабушки.

— Бабушки?

— Ну, твоей мамы. Она сказала, чтоб я ее так называл.

— Очень мило с ее стороны. Твоя пижама под подушкой.

— Зря я не захватил ту книжку про цветы, почитал бы на ночь.

— Не забудь вычистить зубы.

— Что ты — разве можно забыть эту священную обязанность! Мама в обморок упадет.

— Когда-нибудь будешь ей благодарен. У меня вот отвратительные зубы, и они мне всю жизнь досаждают.

— А ты их не чистил?

— Чистил — если вспоминал вовремя. Но главное, я слишком много ел пирогов с патокой.

Я снова повернулся к портрету Джоан. Она там как будто ждала чего-то, устремив глаза вдаль, вытянув руку, ослепительно светлую на темном фоне; но едва ли какие-нибудь ее надежды могли сбыться в этом заброшенном старом фермерском доме.

— Послушай, — Ричард все еще не нашел для меня подходящего обращения.

— Что, дружок? — Я поймал себя на том, что подлизываюсь к нему.

— Зачем твоя мама разбила тарелки?

— Не знаю. Наверно, решила, что они уже никуда не годятся.

— Нет, правда. Может, она рассердилась на мою маму, что та ходила в купальном костюме?

Ему одиннадцать лет. Я попробовал вспомнить, много ли я уже знал, когда мне было одиннадцать. Примерно в этом возрасте я раз вернулся домой с чьего-то рождения, где мы играли в мигалки, и мать — правда, не совсем всерьез — подняла такой шум, как будто я подвергся нападению, изнасилованию, как будто губы у меня были не в помаде, а в крови.

— Почему бы ей из-за этого сердиться? Она ведь сама сказала, что твоя мама как цветок, что же тут плохого.

— А знаешь — смешно: ее и в самом деле чуть не укусила пчела.

— Твою маму?

— Я ей сказал, чтобы она не делала никаких движений; пчела покружилась-покружилась и улетела, конечно.

— Ты своей маме надежный защитник. — Он слушал внимательно, не улавливая иронии. Я продолжал: — А

моя мама, вероятно, разбила тарелки для того, чтобы напомнить нам о себе. Она боится, что мы о ней забудем. В ее годы люди этого часто боятся.

— По-моему, она не такая уж старая.

— А по-моему, очень. Я ведь ее помню, когда она была как твоя мама.

— В каком смысле?

— В том смысле, что молодая. Мы тогда жили в другом доме, в городе, и ей, например, ничего не стоило вскочить на ходу в трамвай. А один раз мой игрушечный самолетик застрял в ветвях дерева, и она влезла на дерево, чтобы его снять. Она была хорошей спортсменкой. В колледже она играла в хоккейной команде.

— А моя мама совсем не спортсменка. Папа всегда отказывался играть с ней в теннис.

Я увидел: вот я лежу в кроватке, высокая молодая женщина подошла пожелать мне спокойной ночи; и когда она наклонилась поцеловать меня, ее рассыпавшиеся волосы соскользнули, пролились с плеча, точно развернулось крыло, окаймленное светом, и заслонило меня от мира. Вот что всплыло передо мной, когда я попытался вспомнить мать молодой и стройной. И было так, словно под высоким окном детской и сейчас тянется пустырь, где играют ребята постарше.

— Ну, давай чистить зубы, — сказал я Ричарду.



Я смотрел, как он ловко, проворно управляет с этим делом, и думал обо всех бесчисленных навыках, овладеть которыми нужно, чтобы стать взрослым. Он сплюнул в таз, с подкупающей тщательностью прополоскал рот, оглянулся, дохнув на меня мятой, скорчил рожу и львиным рыком завершил представление. Удивительно, как дети сами, своим безрассудством, а еще больше своей невинной животной прелестью вселяют в нас мужество, необходимое нам, чтобы их защищать. Голова Ричарда отражалась в оконном стекле, и казалось, из бормочущей мглы за окном заглядывает к нам волосатое чудовище. Вся дождливая, темная, теплая ночь будто штурмовала нашу маленькую освещенную крепость. Под моей охраной Ричард торжественно помочился, чуть подавшись вперед, чтобы прицел был точнее, зорко следя из-под длинных ресниц, как свершается ритуал смешения влаг. Еще навык, которым нужно овладеть, подумал я, вспоминая, как когда-то я смастерил для Чарли маленькую скамеечку, чтобы он мог, как взрослый, становиться перед унитазом в уборной.

Я предложил почитать Ричарду вслух. Ему это явно показалось нелепым.

— Так гораздо же быстрее читать самому, глазами.

— Да, конечно. Я думал, тебе приятно будет. Наверно, я просто соскучился, оттого что мне некому читать вслух.

— Ладно. Можешь почитать мне. Хочешь, я спущусь вниз за книжкой про цветы?

— Боюсь, для чтения вслух она не очень подходит.

— Ну, возьмем сборник научной фантастики.

— Мама считает, что это вредно читать на ночь.

— У мамы все какие-то ненужные страхи.

— Знаешь что? Лучше я тебе что-нибудь расскажу.

— А ты умеешь?

— Раньше каждый вечер рассказывал. Но слушали меня, — я чуть было не сказал «мои дети», — маленькие дети, так что извини, если тебе покажется, что ты уже перерос такие рассказы.

— Ничего. Я люблю все детское.

Интересно, подумал я, знает ли он, что «все детское» — это из Библии. Его мать иногда употребляла глагол «знать» в устаревшем, как мне казалось, библейском смысле.

До девятнадцати лет я не знала мужчины. Конечно, Джой, женщина становится совсем другой, лучше, после того как она узнала мужчину. Меня смущало, что оба они такие нехристи, хоть и не отдают себе в этом отчета; я корил себя, что до сих пор не собрался выучить Ричарда молитве на сон грядущий, которой я когда-то учил своих детей. Я закрыл глаза, и, как одна звезда чувствует движение прочих в слепой бесконечности космоса, я почувствовал, что он сделал то же.

— Однажды лягушонок попал под дождь, — начал я. — Дождь, — я мысленно шарил вокруг себя в поисках образа, — дождь барабанил по его пупырчатой коже, как по крыше дома, и лягушонок радовался, что кожа у него непромокаемая.

— А промокаемой кожи не бывает.

Я открыл глаза, увидел, что его глаза широко раскрыты и смотрят на меня то ли чуть дерзко,

то ли чуть боязливо (этот взгляд мне напомнил его отца), и усомнился: а закрывал ли он их в самом деле.

— Но он это особенно чувствовал, — сказал я. — Он ведь занимал в ней так мало места.

— То есть как это? Я не понимаю.

— В своем теле он был точно крошечный король в своем дворце. Отдаст приказ крепким лапкам — и, как из рогатки пущенный, перелетит с одного листа кувшинки на другой; отдаст приказ языку — и тот стрелой метнется в воздух и на лету поразит бедняжку муху. — «Бедняжка Джоан», вспомнилось мне слышанное не раз за последние два дня. — Лягушонку казалось, — продолжал я, — что рот у него большой, как подъемные ворота, а глаза торчали на лбу, как дозорные башни, и не раз до него доходили слухи о бесценном сокровище, что будто бы запрятано, как в подземелье, глубоко-глубоко в кишках, куда ему никогда еще не доводилось спускаться.

— В кишках! — засмеялся Ричард.

Внизу слышались голоса матери и Пегги. Слов было не разобрать. Я заторопился досказать свою сказку.

— Вот дождь наконец перестал, но деревья уже облетели, и все кругом побурело и высохло. Стало тут лягушонку скучно, и надумал он отправиться на поиски этого сокровища, про которое от кого-то слышал, хоть толком не помнил от кого. Спустился он по винтовой лестнице, которая вела из его головы вниз...

Ричард опять засмеялся. Может, нужно надеть ему металлическую скобку на передние зубы, чтобы они сдвинулись теснее, подумал я, но тут же решил, что Пегги уж, верно, советовалась на этот счет с зубным врачом.

— ...съехал по трубе горла, пролез по перекладинам ребер, попал в мрачную сводчатую комнату, где гулко отдавался каждый его шаг...

— Похоже на доктора Зейса, — сказал Ричард.

— А я рассчитывал, что будет похоже на Данте. Ты слышал про Данте?

— Он кто — француз?

— Почти. Итак, лягушонок все спускался да спускался, из одного незнакомого помещения в другое; и чем ниже он спускался, тем меньше и меньше становился, и когда наконец он очутился там, где по его расчетам должно было находиться сокровище, — исчез совсем!

Видя, что я замолчал, Ричард еще шире раскрыл глаза; в резком свете стоявшей рядом лампы карие кольца радужных оболочек расслаивались, дробились на пятнышки, точки, радиально идущие волокнистые штрихи. Женские голоса снизу зазвучали громче; я напряженно вслушивался, не раздастся ли смех, но смеха не было слышно.

— Это уже конец? — спросил Ричард. — Он умер?

— С чего ты взял, что он умер? Просто он стал такой маленький, что сам себя не мог разглядеть. У него началась зимняя спячка.

— А-а, ну да, конечно. Ты же говорил, что деревья облетели.

— По-твоему, умереть — значит исчезнуть?

— Я не знаю.

— Правильно. Я тоже не знаю. Но так или иначе, прошло сколько-то времени, наступила весна, лягушонок пробудился, видит, кругом темно, и вот он пустился в обратный путь — вверх, вверх, вверх, пробежал все помещения, поднялся по винтовой лестнице, добежал до глаз, распахнул веки, выглянул — а небо-то голубое. Вот теперь конец.

— Распахнул веки — это ты хорошо придумал.

— Спасибо на добром слове. И что выслушал мою сказку, тоже спасибо.

— Ты мне когда-нибудь расскажешь еще?

— Вряд ли. Ты уже большой для сказок.

— А сколько теперь лет Чарли?

— Чарли?

— Твоему настоящему сыну.

— Ему семь. В октябре будет восемь.

— Не так мало. Я бы мог с ним играть.

— Ты думаешь? Ну что ж, надо будет это устроить. Он скоро вернется в Нью-Йорк.

— Да, я знаю.

Пегги ему сказала. Я угадывал Пегги за его вежливым интересом. Но в отличие от Пегги я еще не мог вообразить себе наших детей идиллически играющими вместе, как будто развод — это нечто вроде родства в третьем или четвертом колене.

— Теперь, может, сам считаешь немножко? Какую тебе книжку принести, про цветы или научную фантастику?

— Да нет, на сегодня, пожалуй, хватит. Я лучше просто так полежу, послушаю, как дождь шумит. Прошлой ночью я слышал, как сова ухала.

— И я слышал. Давай я погашу лампу, но оставлю свет в ванной.

— Зачем, не надо. Я не боюсь темноты.

Я потянулся к выключателю лампы и, не прерывая движения, наклонился поцеловать Ричарда. У нас не было так заведено, но он ждал этого и с мальчишечьей резкостью повернул голову — в темноте мне не видно было, ко мне или от меня. Мои губы прильзились на складочку у самого краешка его рта.

— Спокойной ночи, лягушонок, — сказал я.

По мере того как я шел вниз, на свет, на крепнувший шум голосов, меня все сильнее одолевал, обволакивал неуловимо знакомый сырой, влажный запах — казалось, вот-вот я узнаю в нем что-то забытое, но с детства дорогое, что долго дремало в камне, в дереве, в штукатурке, в воспоминаниях дома, а дождливый вечер нашел это там и разбудил. Но я ошибся: запах шел от непросохшего полотенца, брошенного на перила, и это был терпкий запах мокрых волос Пегги.

Моя мать и жена разговаривали; с половины девятого до десяти длился их разговор — то

бурлил водоворотом внезапного спора, то, разом утихнув, спокойно тек дальше, стоило одной или другой выйти из комнаты за бокалом вина, или печеньем в вазочке, или стаканом разбавленного джина; то из длинных и душных туннелей настороженности выныривал на просторы мирных воспоминаний, а там вновь незаметно подбирался к опасной теснине; и хотя ради этого разговора мы, в сущности, и приехали, слушать его мне было нестерпимо трудно. Мать полулежала на диване, пестром от ключев собачьей шерсти, а Пегги примостилась в вольтеровском, кресле, где когда-то с епископской важностью восседал мой дед. Я сидел между ними в крашеном садовом кресле и читал Вудхауза. Время от времени ко мне обращались, требуя, чтобы я что-то подтвердил или опроверг.

— Так это твое мнение, Джой, что я угнетала твоего отца? Ведь если не от тебя, то ей не от кого было услышать что-либо подобное.

— Джой, не ты ли сам мне говорил, что тебе до восемнадцати лет не позволяли встречаться с девушками?

— Джой, это правда, что Джоан тебе изменяла, или это, так сказать, уже задним числом выдумано?

— Скажи же, что я права, Джой! Если ты промолчишь сейчас, значит, ты мне лгал раньше.

— Это ее обычный тон, Джой, или она только со мной не может разговаривать по-человечески?

Каждый такой метко заброшенный крючок больно впивался мне в мозг и вытягивал из меня то умиротворяющую реплику, то попытку самозащиты, то сердитое замечание; а в промежутках, за страницами книги, лежавшей у меня на коленях, где какие-то чудачки скакали среди зеленеющих полей, я видел, как клубится мутным туманом этот нескончаемый разговор и две неловкие души слепо топчутся в нем, ища и не находя друг друга и все дальше и безнадежнее расходясь в погоне за призраками, которыми были мой отец и я сам. У Пегги была своя идея, сейчас, в устрашающей реальности этого поединка, превращенная ею из догадки в подробный обвинительный акт, прямое осуждение чужой жизни, доступной ей только через меня; идея эта заключалась в том, что моя мать недооценила и погубила моего отца, не стала для него тем, чем должна быть женщина для мужчины, навязала ему эту ферму, свою единственную настоящую страсть, подавив и во мне, своем сыне, мужское начало. Слушая ее голос, я думал об отце, о его неподатливом естестве, его смехотворном великодушии — самоотречение было для него таким же источником наслаждения, как для других мужчин чувственность, — и старался не вникать в ее слова, таким диссонансом врезались они в сложную простоту того, что было на самом деле. А мать в свою очередь строила фантастическую контрсистему, центром которой был я — единственное дитя, избранник слепой судьбы, поэт, беззастенчиво отнятый у покорной, идеально бескорыстной жены, ввергнутый в грех прелюбодеяния и взявший на душу еще более тяжкий грех, осиротив своих детей. «Ты посмотри на него!» — гневно восклицала мать, и я поднимал голову, готовый дать каждой из них ту живую улику, которую она искала.

Возможно, обе были правы. Любое превратное представление до известной степени является истиной, поскольку оно существует в сознании хотя бы одного человека. Моя работа научила меня, что истина не есть нечто незыблемое, это не горная вершина, к которой отдельные утверждения приближаются, как полузамерзшие альпинисты, этап за этапом штурмующие гору. Скорей, можно сказать, что истина непрестанно образуется из отвердевающих иллюзий. В Нью-Йорке я имею дело с людьми, чьи сегодняшние ошибки через год перенимаются всеми, как новый фасон обуви.

Я не хотел слушать ни мать, ни жену, мне было страшно. В их стремительном разрушении прошлого мне могло открыться, что я ошибался в своем отце и не знал самого себя. Их

разговор представлялся мне столкновением двух темных масс, но если темнота матери обогревала, то темнота Пегги была холодная, плотная, металлическая. А ведь, став моей женой, Пегги приняла на себя обязанность делить со мною мой долг, заботиться о моей матери, приноравливаться ко всем неожиданностям атмосферы, ее окружавшей. Даже дым сигареты Пегги врывается в эту атмосферу чем-то оскорбительным.

Щенок соскочил с дивана и улегся на коврик перед камином, прежде заменявшем в ванной циновку, но дрова в камине стреляли над самым его ухом, и он в конце концов перебрался в кухню, на привычное свое место под обеденным столом. Дров нужно было подбросить. Я снова спустился в погреб, где все еще витал для меня дух отца, и принес большую охапку поленьев. Огонь сразу разгорелся, и я подумал: наверно, его буйным взорам Пегги, гордо застывшая в вольтеровском кресле, представляется существующей лишь в одном повороте, как карточная фигура. Мать под вкрадчивое бормотание дождя продолжала разговор.

— Джой меня немало тревожил. В нем иногда появлялась неожиданная жестокость. Насекомых он не мучил, но со своими игрушками обращался как настоящий палач. Нам иногда слышно было, как он с ними разговаривает в детской, требует, чтобы они в чем-то признавались. Отец видел в этом влияние военной пропаганды. Может, он и был прав. Но мне казалось, что тут другое: мальчик остро чувствовал чужое страдание, и оно его непонятным образом притягивало. Когда мы переселились на ферму, ему подарили щенка, ту самую Митци. Он ее дразнил до того, что она завела моду прятаться от него в сточную трубу у курятника. Но она росла, и ей все трудней было поворачиваться в трубе, и вот однажды она забилась туда, а вылезть не может. Джой прибежал ко мне, на нем лица не было, помню, я даже подумала: что бы его ни ждало в жизни, страшней уже ничего не будет. Он весь был перепачкан землей — рыл ее руками, хотел откопать другой конец трубы. Но пока мы с ним поспели на место, Митци успела сообразить и выбраться задом. Собаки — они ведь на редкость смысленные животные. Лошадь никогда бы до этого не додумалась. Я знаю случаи, когда лошади погибали во время пожара на конюшне, хотя позади них были настезь раскрыты двери. Но так или иначе, во всей этой истории с Митци мне очень не понравилась одна вещь: хоть Джой тогда чуть не расцеловал собаку в благодарность за то, что она сумела себя выручить из беды, но потом, бывало, как на него найдет, он сейчас же тащит ее к этой трубе и притворяется, будто хочет ее туда опять засунуть. По-моему, это было очень неблагоприятно.

В ушах Пегги голос матери сливался с шумом дождя; в какой-то момент они пересеклись, и тут она клюнула носом раз, другой и заснула. Но уже в следующую минуту она встала с кресла, вся — воплощенное достоинство, и сказала:

— Простите меня, я, пожалуй, пойду спать.

— Правильно сделаешь, Пегги, — сказала мать. Что ж, нашим разговором я довольна, хоть и не уверена, что ты меня полностью, до конца поняла.

— Вероятно, никого нельзя понять до конца, — сказала Пегги. После этого минутного сна лицо у нее сделалось какое-то странное, похожее на маску. Она улыбнулась мне одной стороной рта и сразу вышла из комнаты, не дав мне возможности уйти вместе с ней.

Когда шаги наверху затихли в ванной комнате, мать сказала:

— Тебе не кажется, что ты совершил ошибку?

— Ошибку? В чем?

— В том, что развелся с Джоан и женился на Пегги?

Мне было приятно, что она назвала мою жену по имени и произнесла это имя тем же тоном,

что имя Джоан. Как будто говорила о двух дочерях.

— Да, да. Да.

— Что — да? — Она виновато улыбнулась, словно извиняясь, что нам не удалось сразу понять друг друга.

— Да, это было неправильно.

Она удивленно приподняла брови, может быть, из-за того, что я употребил другие слова. Вопрос и ответ получились словно из разных контекстов.

— Из-за детей?

— Даже если о детях сейчас не говорить. С Джоан я не был особенно счастлив, но с ней моя жизнь шла так, как ей было положено идти. Оставив Джоан, я вывихнул свою жизнь.

— И не только свою.

— Трудно жить, не затрагивая чужих жизней.

— Это самое я говорила себе, когда решила купить ферму.

Я сказал:

— Что это ошибка, мне стало ясно, когда еще не поздно было все изменить. — Мой голос звучал торопливо и чуть надсадно; это был как бы не мой голос, хоть он и возникал внутри меня. — Но дело зашло далеко, и тут уж, вероятно, сказалось во мне отцовское упрямство. Будь что будет, а назад не поверну.

— Скорее, отцовское любопытство.

— Тоже верно. Мне было интересно, как это получится.

— И как же получилось?

— Вообще чудесно. Но бывают минуты, когда я стою перед ней, как перед пропастью. Она иногда непроходимо глупа.

— Да, пронизательностью она похвалиться не может.

— Не то что мы.

— Не то что Джоан.

— Чем тебе так не нравилась Джоан? Из-за тебя она и мне в конце концов перестала нравиться.

— Все твоя фантазия. Джоан мне нравилась. Она умеет держаться. В ней есть, как раньше говорили, тон. Это редкое качество. Она напоминает папину сестру, мою золовку, а с той мне всегда бывало немножко не по себе. Когда я стояла или сидела с ней рядом, у меня бывало такое чувство, точно я где-то недомылась. Тебе самому Джоан недостаточно нравилась, вот что.

— Верней сказать, я ее недостаточно знал.

— Да. В известном смысле она всегда удерживала тебя на расстоянии.

— А теперь я ее люблю. Удивительно, до чего я ее люблю теперь, когда она в Канаде.

— С Джоан у тебя еще оставалась надежда стать поэтом. Вот кого ты любишь — поэта, которым тебе теперь никогда не стать.

— Поэта. Это ты сама хотела быть поэтом.

— Нет. Я хотела быть фермером. А мой отец был фермером, но хотел быть оратором.

Я улыбнулся той легкости, с какой она, распростертая на диване, с трудом переводя дух, плела этот словесный узор.

— Да, — сказал я. — А вышло так, что теперь ты — оратор, а я — фермер.

Она переменяла позу и негромко вскрикнула, как от мимолетной боли.

— Не шути, Джой. Как ты можешь шутить, приведя в дом мою смерть.

— О чем ты?

— О ней. Она лютая. Не пройдет и года, как она меня уморит.

— Ты это серьезно?

— А вот посмотришь. Я помню, как моя мать свела в могилу бабушку Хофстеттер, и пальцем к ней не притронувшись. Вчера, когда она так весело семенила по двору мне навстречу, я сразу поняла, что сейчас поцелую свою смерть.

— Мама, нельзя быть таким эгоцентриком. Она ведь тебя совсем не знает. И ей дела нет ни до тебя, ни до твоей фермы.

— Напрасно думаешь. Она из Небраски и знает цену хорошей земле. Тут в каждом акре лежат деньги, и ей хочется их получить. Видал бы ты, как она выиграла вчера, когда мы дошли до верхней дороги, за которой начинаются строительные участки.

Я засмеялся. Зная страсть Пегги к покупкам вприглядку, легко было представить себе эту сцену.

Мать продолжала:

— Пусть ты и зарабатываешь больше, чем зарабатывал твой отец, все равно, на двух женщин и этого не хватит. И не надейся, что они с Джоан будут мирно хлебать из одной плошки. Твое приобретение тебе недешево обойдется, Джой. Все эти штучки-брючки и ночные рубашечки, в которых все видно, денег стоят.

— Ничего в ее рубашках не видно.

— Зато в глазах у нее видно все, и я вижу там гибель своего сына.

Быть может, страх матери перед приближением смерти внушил мне потребность тоже почувствовать боль, как отклик на ее боль, плату за нее, зеркальное ее отражение, но мне показалось, что мать права.

Гибель. Мне приятно было сознавать себя павшим, придавленным, загнанным, потерявшимся, канувшим без возврата в глубины ошибки, которую мать тут же и назвала, словно включая мою беду в круг своей мифологии:

— Ты женился на пошлой женщине.

Я и с этим был согласен.

Мать пожала плечами и заговорила снова; казалось, она не со мной говорит, а тянет из клубка правды нитку, которая то и дело запутывается.

— Что ж, ведь и в Библии сказано, что мы расточаем достояние отцов наших. Можно только дивиться, что за шесть тысяч лет еще не все расточили.

— Она в самом деле глупа.

В разговоре с матерью я всегда отстаю, попадаю туда, откуда она уже отправилась дальше. Она улыбнулась, видя, как я выпрямился в кресле, по-ребячьи взволнованный запоздалым открытием очевидного.

— На редкость глупа, — упорствовал я.

— Ты это всегда знал.

— Нет. Я кинулся за ней очертя голову. Я не сомневался в том, что все именно так, как мне кажется. Трудно было представить себе, что такое красивое существо глупее меня. Вероятно, я думал, что она сама себя сотворила.

— Видишь, ты забыл бога.

У моей матери религиозность словно не связана с верой — характерная для нее особенность.

— Знаешь, мама, — начал я, стараясь подбирать слова так, чтобы они располагались вокруг больного места, затронутого ее обвинением, — что касается этого, у меня, кажется, никогда еще не было так ясно на душе. Вот, должно быть, одно из преимуществ зрелого возраста. Проблемы просто больше нет. — Вероятно, это должно было означать, что я признаю себя верующим.

С царственным нетерпением, которое, как и подвижность интонации, как-то умещалось в ее бессильной, немощной плоти, мать отмахнулась и от Пегги, и от бога.

— Так как же ферма?

— А что ферма? Существует и существует.

— А когда я умру — перестанет существовать?

Я поднялся, чувствуя себя обиженным: если уж толковать о грехах, я впал в грех ревности.

— Об этом, кажется, еще рано говорить.

Меня возмущало, что она так легко приняла мое вероломство по отношению к Пегги, всосала его в себя, как паразит, и уже ее мысли, все ее заветные помыслы не обо мне, а о ферме. В отместку я так же легко отнесся к разговору о ее смерти.

— Мне немного осталось, Джой!

Она сказала это тихим, изменившимся, полным значения голосом, подняв ко мне лицо, так что открылась белая, слабая шея; казалось, что-то тяжелое навалилось на нее спереди и не дает встать с дивана. У меня подкатило к горлу, будто я застиг родителей в момент совокупления. Хотелось убежать, но какая-то ниточка — вежливость отчужденности, детская привычка ждать, когда отпустят, — удерживала меня на месте, за двойным заслоном дождя и фотографий, между темной кухней и вспышками гаснущих в камине углей.



Мать метнула на меня быстрый взгляд. И мгновенно замкнувшись в себе, что не раз помогало ей сохранять между нами должную дистанцию поколений, выпрямилась и сказала:

— Наверно, с непривычки устал после такого рабочего дня?

Я ответил:

— Спина ноет, но это даже приятно.

Она сказала:

— Веки у тебя припухли, как бывало во время цветения златоцвета. Я думала, живя у моря, ты от этого излечился.

Я сказал:

— Жаль, я так мало успел. Позволила бы ты, я бы завтра до отъезда мог скосить еще и маленькое поле.

Она спросила:

— А вы когда поедете?

— Часа в три-четыре, не позже. В понедельник мне с утра на работу, а Ричарду в школу.

Она вздохнула.

— Там видно будет. А теперь ступай: Пегги, наверно, заждалась.

— Хочешь, иди в ванную первая.

— Нет, ты иди.

— Приятных сновидений.

— Приятных сновидений.

На лестнице дождь звучал по-другому, а вверху, на площадке, казалось, будто он попался в ловушку и теперь барабанит по стеклу не снаружи, а внутри и вдобавок роется в старых журналах на подоконнике, до которых никто не дотрагивался после смерти отца. Мерное дыхание Ричарда дало сбой, и я постоял у его двери, прислушиваясь, не проснулся ли он. Осторожно, нерешительно я вошел в нашу спальню. Тьма, окутанная дождем, казалась непроницаемой, только в зеркале над отцовским бюро мерцал белесоватый овальный облик. Боясь разбудить Пегги, я не стал искать свою пижаму, а полез под одеяло в нижнем белье. Мне показалось, что я провалился в гигантскую яму. Моей ноге пришлось описать широкую дугу, чтобы дотронуться до прохладного тела Пегги. Она лежала на спине. Окно с моей стороны было опущено не донизу, и узкая призма ночного воздуха усиливала шелест дождя, разворачивала его звуковой радугой. Холодные брызги секли мне лицо, руку, лежавшую на подушке, голую грудь. Я чихнул. Вся труха, вся цветочная пыльца, все, чего я наглотался за этот трудовой день, скопилось у меня под переносицей. Я чихнул еще раз.

— О господи, — сказала Пегги.

— Ты оставила открытым окно, от этого... — Я опять чихнул. — ...сквозняк. Можно, я закрою?

— Нет.

— Ладно. Убивай меня. — Я напрягся всем телом, готовясь чихнуть снова, но в эту минуту рука Пегги захлестнулась вокруг меня тугим объятием побеждающего в схватке борца; и эта мелочь, тяжесть ее руки у меня на груди мгновенно изменила мое самочувствие и вернула мне ясность ощущений.

— Какая чувствительность. — Тон был сухой. — Тебе бы вовсе не покидать материнской утробы.

— А что, там было очень уютно. Всегда ровная комнатная температура. — Она молчала, и я спросил: — Ты слушала наш разговор?

— Отсюда не много услышишь. Разбирали меня по косточкам?

— Как тебе не стыдно.

— Я знаю, вы считаете меня дурой. Ну и пусть. Я уже успокоилась.

— Тем лучше. Только держи меня так, не отпускай.

— Ноги у тебя как лед. О чем же вы все-таки говорили?

— Все больше о ферме. О том, можно ли косить в воскресенье. А ты как себя чувствуешь?

— Неважно. Соревнуюсь с дождем.

— Бедненькая моя. Ребенка тебе нужно.

— У меня уже один есть. Если считать Ричарда, даже двое.

— Может, все-таки позволишь закрыть окно? Мать и так пророчит, что я слягу.

— Закрывай. Буду задыхаться.

Чтобы закрыть окно, мне пришлось встать с постели. Оконная рама глухо стукнула, будто щелкнул взведенный в ночи курок; за холмом Шелкоффов вспыхнула молния, и, как не в меру разошедшийся шумный гость, загрохотал гром. Я снова лег, лицом к Пегги. Моя плоть откликнулась на шедшее от нее тепло. Она протянула ко мне руку.

— О господи, — сказала она опять.

— Не обращай внимания, — сказал я. — Природа — дура.

Она послушно отстранилась. Где-то внизу, в стороне от нас, захлопали двери, залаяли собаки.

Мне всегда страшно, когда я вижу во сне своих детей. Первое время после того, как я ушел от них, они мне не снились. Если тогда вообще удавалось уснуть, то сон был похож на обморок, без сновидений. Потом, когда жизнь отдельно от Джоан вошла в колею и в ней даже сложился уже свой привычный порядок, они стали являться мне каждую ночь. Стоило закрыть глаза, как Энн или Марта уже поднимали ко мне свои бледные личики, прося развязать узел на шнурке, починить сломанную игрушку, объяснить трудную фразу, помочь в решении хитроумной головоломки. После моей женитьбы на Пегги это случалось реже. Сегодня я в первый раз за неделю увидел подобный сон. Я косил. Трактор на что-то наткнулся; под колесами глухо хрустнуло. Я затормозил и слез с трактора, опасаясь увидеть раздавленные фазаньи яйца. Но поле уже не было полем. Кругом тянулся какой-то странный пустырь, кочковатый, как болото, курящийся, как свалка. На земле лежало что-то,

свернувшееся в комочек, покрытое засохшей пепельно-серой грязью. Тревога кольнула меня, к сердцу подступила непонятная жалость; я нагнулся, поднял комочек на руки и почувствовал, что он живой. Это было недоразвитое человеческое существо, горбатый гомункулус, пригнувший к груди голову, словно прячась от удара. Тоненький голосок сказал: «Это я». Сморщенная мордочка под слоем грязи показалась мне знакомой. Кто бы это мог быть? «Ты не узнаешь меня, папа? Это же я, Чарли». Я прижал его к груди и поклялся, что никогда больше с ним не расстанусь.

Голос матери окликнул меня по имени. Потом выплыло ее лицо, склоненное надо мной, увеличенное близостью. На ней было темно-зеленое платье, неподобранные волосы висели прядями.

Я спросил:

— Ты что, в церковь?

— Да вот, собираюсь, — сказала она. — Я плохо спала ночь.

Было уже утро. Чарли не лежал у меня на руках: Чарли, крепкий, здоровый мальчуган, резвился сейчас где-то в Канаде. Мои голые плечи торчали из-под одеяла, и я подумал: мать решит, что мы с Пегги после любовных ласк уснули голыми. Пегги нигде не было видно.

— Собаки ночью лаяли, — сказал я, готовый принять на веру то, чего не мог опровергнуть.

— Двери конюшни хлопают от ветра, вот собаки и беспокоятся. Ты со мной поедешь?

— В церковь?

— Отцу было бы приятно.

— А Пегги и Ричард?

— Ричард говорит, ему не в чем ехать.

— Который час?

— Без четверти девять. В этом месяце служба начинается в половине десятого.

Приход недавно разделили надвое, и священнику по воскресеньям приходилось служить дважды, в половине десятого и в одиннадцать, в двух разных церквях, расположенных довольно далеко друг от друга.

— Где Пегги?

— Надела свои штучки и пошла на солнышко. Не беспокойся, я ее не съела.

— Ты ее звала в церковь?

— Она сказала, если Ричард надумает, тогда и она поедет.

— А одна ты не хочешь ехать?

— Боюсь вести машину, сама, и потом, разве тебе не любопытно повидать старых знакомых?

— Нет.

— Понимаешь, я за все лето, кажется, ни разу не была в церкви — как-то нехорошо

получается.

— Ну ладно, тогда уходи, дай мне одеться.

— Тебе неохота? Больше я не буду затруднять тебя такими просьбами.

Я понял, что она ожидала отказа. Но мне самому захотелось поехать в церковь, взглянуть — только взглянуть — на других людей, ничем со мною не связанных, кроме того своеобразного долга вежливости, который мы все отдаем мирозданию, исповедуя христианскую веру. Вероятно, как и у моего отца, состоявшего церковным старостой, у меня была какая-то потребность внутренне собраться в не занятый делом час, проверить собственное существование зрелищем принаряженных по-воскресному, набожно склоняющих голову прихожан.

Народу в церкви было немного. На своем постоянном месте в первых рядах сидели все три брата Генри — владелец продовольственного магазина, агент компании по продаже тракторов и школьный учитель — со своими одинаковыми дебелыми женами, с еще остававшимися при них детьми (старшая дочь Тома Генри, Джессика, вышла замуж за летчика и переехала в Санта-Фе; сын Уиллиса Генри, Моррис, по настоянию жены-католички переменял религию) и даже со внуками в чистеньких комбинезончиках и накрахмаленных платяцах, которые вертелись во все стороны и тарасили глаза. Следующие два ряда были пусты, а дальше сидела незнакомая мне пара, оба белокурые, оба с красными от загара шеями — они недавно открыли закусочную близ Галилеи, шепнула мне мать. Скамью через проход в том же ряду занимали старая миссис Рук в своей вечной черной шляпке с гроздьями металлических ягод и стройная пуэрториканка — соломенная вдова (шепнула мне мать), живущая в автоприцепе на участке старого Гуглера. Она сидела очень прямо, опустив серую вуалетку на смуглое лицо, окруженная целым выводком непоседливых ребятишек. Из мужчин, собиравших пожертвования, я не знал ни одного; они все принадлежали к новому для наших краев типу — младшие компаньоны деловых фирм в строгих однобортных летних костюмах, инженеры, зубные врачи или конторские служащие из тех, что живут за городом и каждый день ездят оттуда на работу. По счастью, кроме братьев Генри и старой Кэти Рук, никто здесь не мог помнить меня юным скептиком, хмуро сидящим на церковной скамье между матерью и отцом. Над алтарем была в те времена фреска на сюжет Вознесения, написанная заезжим художником лет пятьдесят назад и порядком закоптившаяся от дыма погребальных свечей. Ветер слегка раздувал в полете Христовы одежды, в меру открывая глазу удивительно свободно висящие босые ступни. Теперь вместо фрески высился модернистский бронзовый крест на фоне алтарного занавеса ярко-красного цвета — дар Рассела Генри в память усопших родителей, шепнула мне мать. Хотя я уже много лет не слышал воскресной службы, все в ней было мне очень хорошо знакомо. Слова сами собой приходили на язык. Священник, аккуратненький, очень молодой, говорил чуть гнусавым голосом педанта, сопровождая свою речь заученными жестами; когда он взошел на кафедру, оказалось, что он очень маленького роста — издали это было незаметно.

Текст для проповеди он выбрал из Книги бытия и толковал его в округленных фразах, не чуждых некоторой учености; его лицо и руки, освещенные снизу, казались неестественно бледными.

— И сказал господь бог:

Нехорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему. Запомните: Адам нуждался в «соответственном помощнике». Древнееврейское слово «азер» не имеет родового окончания и означает «подспорье», «помощь», какую подмастерье оказывает мастеру или один работник другому. Итак, вопреки некоторым сентиментальным богословским учениям, мы, мужчины и женщины, были сотворены не для того, чтобы любить друг друга, но для того, чтобы трудиться вместе. Труд не есть кара за грехопадение. Когда

мир был только что создан и ничем не омрачен, бог поселил Адама в саду Эдемском, чтобы он его «возделывал и хранил». Возделывал и хранил.

Следующий стих гласит:

Господь бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их; и чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. Две вещи удивляют нас тут. Во-первых, бог — не подумав, казалось бы, — прежде Евы создал животных в качестве друзей и помощников Адаму! Во-вторых, первым делом Адама, первым

делом, о котором нам рассказывает Библия, было дать этим животным имя! Но так ли уж это удивительно? Разве бессловесные твари земные не истинные друзья нам? Разве не светится это божье предназначение в глазах собаки, лошади, даже телки, которую ведут на убой? Разве человек, создавая цивилизацию, видел в животных только вьючный скот и пищу для себя, разве не служили ему образцом и вдохновением полет птиц, могущество льва? И так ли уж странно, что первым делом Адама было дать имя своим немым помощникам? Не похожа ли наша речь, язык наш, на труд земледельца, огораживание полей? Все мы здесь фермеры или сыновья и дочери фермеров, и все мы знаем: ничтожный червяк способствует проникновению воздуха в почву. Так и язык помогает разуму, духу проникнуть в сухую бесплотную материю.

— Я вовсе не сын фермера, — шепнул я матери.

— Тсс! Ты ведь и мой сын тоже.

— И навел господь бог на человека крепкий сон; и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью; и создал господь бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. Вероятно, многим из вас известно, что, когда впервые стали применять при операциях наркоз, на этот стих ссылались в спорах против тех, кто полагал, что анестезия противна христианскому учению. Но давайте присмотримся к трем другим обстоятельствам, упоминаемым в рассказе о сотворении Евы. Она была взята

от Адама. Она была сотворена

после Адама. И она была сотворена, когда Адам спал. Какие выводы мы сегодня из этого можем для себя сделать? Первое: не сводится ли женский вопрос к тому, что женщина взята

от мужчины и таким образом представляет собою как бы подвид, часть целого, что она не равна мужчине. В словаре Вебстера читаем: ЖЕНЩИНА — взрослое лицо женского пола, в отличие от мужчины и ребенка. Такая формулировка невольно оставляет впечатление, что женщина есть нечто среднее между мужчиной и ребенком.

Братья Генри переглянулись, по передним скамьям пробежал вежливый смешок.

— Второе: женщина была создана

после мужчины. Представим себе бога как мастера, совершенствующегося от изделия к изделию. Мужчина сработан грубовато, хотя и взыскательно; женщина — плод более изощренного и искусного труда. Вспомним, что бог создал ее вскоре после того, как образовал всех животных полевых и всех птиц небесных, и его рука, привычно двигаясь в том же ритме, творила формы гармонические и изящные. Ребро округло. Создание Евы обрекло Адама на раздвоение. Половиной своего существа он тянется к ней, вышедшей из него, как к себе самому, к нутряному, родному теплу, растворение в котором есть в то же время сотворение. Другая же половина стремится наружу, к богу, в просторы бесконечности. Он жаждет постичь тайну смерти, его ожидающей. Еве это не нужно. Она как бы неподвластна

смерти. Само имя ее —

Хава — по-древнееврейски означает «живущая». Материнством она конкретно решает задачу, которую мужчина пытается решить абстрактно. Однако мы, христиане, знаем: абстрактных решений тут нет, и нет никаких решений вне конкретной реальности Христа.

Он наклонился к светильнику на аналое, и его лицо с острыми чертами стало еще бледнее.

— И третье: женщина была создана, когда Адам спал. Оттого ее красота всегда хранит для мужчин призрачность сновидения. Каждый день, просыпаясь, мы дивимся, подобно Адаму, видя рядом своего двойника — нет, не двойника, ибо податливая нежность и кроткое долготерпение женщины противоположны природе мужчины. И стремясь к ней, мы свершаем акт веры.

И сказал человек: вот, это кость от кости моей и плоть от плоти моей; она будет называться женой, ибозята от мужа своего. Слова, употребленные в оригинале Книги бытия, имеют родовое окончание. Мужчина —

иш — называет женщину

иша, тем самым как бы указывая, что она есть его ипостась. Необходимая ипостась. Карл Барт, крупнейший авторитет нашей дружественной соперницы, реформатской церкви, так говорит о женщине: «Все ее существование есть призыв, пусть не всегда услышанный, к доброте мужчины». Призыв к доброте мужчины. «Ибо доброта, — продолжает он, — его исконное свойство, составляющее часть его человеческого долга».

Исконное, то есть присущее ему с самого начала, с той поры, как бог вдохнул в прах дыхание жизни и «стал человек душою живою».

Итак, если я верно толкую приведенные тексты, женщина была создана для помощи мужчине в его делах, которые в то же время суть дела божьи. Назвав ее именем, производным от собственного, Адам свершил акт веры. «Вот, это кость от кости моей и плоть от плоти моей». В этих словах как бы заключено признание, что его долг быть добрым. И в них же — установление нравственной связи с земным. Доброта отличается от праведности так же, как травы отличаются от звезд. И та и другая беспредельны. Но праведность невозможна без сознательного обращения к богу. А доброта не зависит от веры. Она заложена в самой природе мироздания, в каждой черточке каждого творения божьего. А теперь — помолимся.

Проходя в дверях мимо священника, я пожал его холодную, мягкую руку и сказал, что проповедь он произнес замечательную.

Мать, шедшая следом, тоже обратилась к нему ровным негромким голосом, каким обычно произносила что-нибудь, требующее оговорок:

— Так непривычно слушать

молодую проповедь.

Уже сидя в машине, я спросил:

— Почему ты назвала его проповедь молодой?

— А, сама не знаю, — сказала она. — Надоели мужские разговоры о женщинах. Мне это просто неинтересно.

— У него, видно, недюжинные способности.

— Да уж, карьера ему обеспечена. В нашем приходе он долго не задержится. К сорока годам будет епископом — если только отучится шнырять глазами где не следует.

Я рассмеялся.

— А за ним это водится?

— Говорят. У нас теперь очень хорошенькие прихожанки поют в хоре.

Проповедь, видно, задела ее за живое; помолчав немного, она сказала:

— Нет, Джой, по-моему, когда мужчина начинает так рассуждать, это значит, что он причинил горе какой-то женщине и старается найти себе оправдание.

Меня удивил ее тон, сосредоточенный, глубоко личный. Способность матери эгоцентрически обособляться от меня показалась мне даже обидной. Я нарочно переменял тему.

— Генри знают о моем разводе?

Выйдя из церкви, мы немного постояли с ними под горячим бестеневым полуденным солнцем, заливавшим красноватую мостовую и плотно убитый грунт автомобильной стоянки. Они очень сердечно и ласково встретили меня, охотно отвечали на мои расспросы о Джессике, чьи стройные ноги и широко расставленные глаза заставляли меня когда-то ворочаться по ночам на моей узкой койке. Рассел, Уиллис и Том звали мою мать просто по имени — Мэри, и это разом перенесло и нас, и старинную маленькую церковь с выбитой на камне датой закладки и полуциркульным окошком над входом в далекие времена, когда меня еще не было на свете. Они все учились с матерью в одной школе. Но я чувствовал, что разговор с ними утомляет мать.

— Еще бы не знали, — ответила она на мой вопрос. — Эта новость наделала шуму. Мы тут всегда в курсе твоих дел.

Голос матери звучал натянуто и словно возникал где-то неглубоко, в горле.

— И что же, верно, все были возмущены?

— Милый мой, теперь, чтобы возмутить нас, много нужно. Прошлой зимой мэр Олтона попал под суд за то, что, оказывается, получал проценты с веселых домов около ярмарочной площади.

Снова я рассмеялся; никто так не умеет рассмешить меня, как моя мать.

— Все-таки мне бы не хотелось становиться героем местных сплетен. Тебе ведь жить среди этих людей.

— Ах, Джой, ты, кажется, считаешь нас всех дураками. Эти люди видели Джоан. Они прекрасно поняли, что она тебе не подходит.

— А она мне не подходит? — Я замер за рулем; мне показалось, будто что-то ощупью, неуверенно пробивается сквозь ровный серый свет.

В голосе матери зазвучали нетерпеливые нотки.

— Конечно, нет. Эта куда больше в твоём стиле. Хофстеттеры всегда выбирали себе женщин с норовом.

Это было слишком уж круто; слишком бесцеремонно расправлялась она с моей первой женой, моей нежной и глубокой, молчаливой и замкнутой Джоан. Джоан выросла в меня как

иллюзия, с которой, даже когда она разрушена, больно расстаться.

— Что ж, — сказал я. — Не будем разочаровывать Хофстеттеров.

— Джой, ты же понимаешь, о чем я. Ты слишком податлив, это в тебе от отца. Ты совсем уже превратился в ягненочка в ту пору, когда я затеяла переезд сюда. Оттого я его и затеяла. Но, женившись на Джоан, ты опять к этому вернулся. Джоан — она как Олинджер. Все в ней так благопристойно. Так ми-ило.

Меня покорило от ее насмешливой интонации.

— Тебе вредно столько разговаривать, мама. У тебя одышка.

— Если б только одышка.

— А что еще?

Я заметил, что паузы в ее речи какие-то странные, словно ей приходится собираться с силами после каждой фразы.

— Ничего, следи за дорогой. Я хочу сказать о твоей работе. Я никогда не могла простить Джоан — как она могла тебе позволить тратить себя на ремесло проститутки.

— Джоан никогда не настаивала, чтобы я занимался этой работой.

— Этого мало. Ее долг был настоять, чтобы ты ее бросил. Эти ее голубые очи ни разу не посмотрели на тебя живым человеческим взглядом.

— Неправда. — Но сердце у меня забилося чаще в приливе эгоистической радости, рожденной этим глухим поединком.

Мать вдруг вскрикнула. Это даже был не крик, а истошный визг — так визжит собака, которой отдавили передние лапы. Я в это время делал левый поворот с шоссе на проселок и не сразу оглянулся посмотреть, что случилось. Оглянувшись, я ее не узнал. Лицо у нее вздулось, особенно под глазами, словно что-то неудержимо распирало его изнутри, обеими руками она держалась за грудь и, зажмурясь, молча силилась справиться с собой. Черты лица утратили четкость и, казалось, все время менялись, как очертания облака. Между бровей выступила испарина.

— Что делать, мама?

— Поезжай дальше. Со мной это не первый раз.

— Ты так страшно кричала.

Она, видно, чуть не закричала так снова, но после моих слов плотно сомкнула губы, так что из них вырвалось только короткое мычание; а лицо все наливалось и наливалось чудовищной непонятной полнотой, разгладившей все морщины на коже.

— Господи, мама!

Тут ее отпустило, она задышала частыми, прерывистыми толчками, не открывая глаз, раздвинув, как для поцелуя, губы. Я снял ногу с акселератора и затормозил. Она открыла глаза; взгляд был жесткий, лишенный всякого выражения.

— Не останавливай. Я хочу домой, на свою землю.

— Но какой же смысл? Тебе нужен врач.



Короткая усмешка тронула приоткрытые губы.

— Дома у меня есть таблетки. — Она помолчала, прислушиваясь, как бы прикидывая, есть ли у нее время для полушутливых оправданий. — Слишком много было треволнений за эти два дня. Я ведь привыкла жить тихо.

Я поехал дальше. Проплыло мимо взлохмаченное маленькое поле. Показалось большое, на котором я косил вчера. Когда мы поравнялись со старой грушей, мать снова вскрикнула; крик на этот раз был громкий, но протяжный, почти стон. Мне было приятно, что она дала себе волю, не пыталась больше сдерживаться, щадя мое неведение.

— Что это — сердце?

Она ответила:

— Нет, больше грудь и плечи. Когда дойдет до сердца, мне уже не придется рассказывать об этом.

Я пересек газон и остановил машину у кухонного крыльца. Залаяли собаки, но других признаков жизни не было заметно. Водопроводная колонка и увечный куст бирючины стояли как двое воришек, застигнутых на месте преступления.

— Ты сможешь идти?

— Идти смогу, а вот дверь не могу отворить.

Я понял это так, что она не знает, как действуют ручки в «ситроене», но, оглянувшись, увидел, что она сидит, даже не пытаясь шевельнуть рукой. Я обошел кругом и отворил дверь. Не встречая сопротивления, я взял ее под локоть и помог выйти из машины. Казалось, она твердо стоит на траве обеими ногами, но плечи ее были по-прежнему согнуты, и она не сразу решилась отойти от машины, в которой можно было найти опору.

— Надо вывести собак, — сказала она.

Собаки отчаянно лаяли; может быть, стоя рядом, мы показались им одним неведомым существом, в котором противоестественно слились хорошо знакомые запахи и очертания. Пока мы медленно обходили машину, щенок опрокинул пустое ведро, а одна из больших собак прыгнула и вцепилась когтями в проволочную сетку, но сорвалась.

Дом казался пустым. Посуда, которую мы не успели убрать после завтрака, мокла в ополосках, серо-стальных от осевшей мыльной пены. Бесшумно шли электрические часы, поблескивали мои заморские подарки, озабоченно хмурились фотографии, без помех продолжая свой вечный разговор. Мы явились к ним, как призраки из другого мира, который с их миром никогда не пересекался.

— Пегги? Пегги! Ричард!

Ответа не было. Мать сказала:

— Пусти, Джой. Я пойду наверх и лягу. Спасибо, что свозил меня в церковь.

— А ты дойдешь сама?

— Если упаду на лестнице, ты услышишь.

И мы поступили так, как подсказывала нам старомодная взаимная деликатность и нежелание затруднять друг друга. Она стала подниматься по лестнице, а я стоял у нижней ступеньки,

пока не услышал над головой шаркающие шаги.

Я окликнул:

— Ну как ты там?

Ответ прозвучал невнятно, что-то вроде: «Лучше некуда».

— Пойду поищу Пегги! — крикнул я и тут же встревожился: не примет ли она это как дезертирство с моей стороны. На самом же деле я хотел позвать Пегги на помощь. Мне вдруг стало ясно, что я сам не в состоянии эту помощь оказать. Я бежал по газону, и у меня сосало под ложечкой от знакомого с детства ощущения своей никчемности, незадачливости, словно жизнь — это шумный и яркий праздник, на который я не сумел попасть вовремя и теперь мечусь по темным улицам Олинджера и не могу разобраться, с какой стороны доносится уже затихающий праздничный гул.

Я не знал, куда кинуться на поиски. Повсюду торчали сорняки, все кругом притихло в злобной праздности воскресного дня. Не было больше сказочного зеленого приюта в стороне от проезжих дорог, была просто заброшенная ферма, двенадцать минут пути от Олтона, никем не охраняемый очаг запустения, приманка для бродяг, злоумышленников и сумасшедших. И где-то там жалким свидетелем насилия стоял мой сын — так значился Ричард в мысленной скорописи моих страхов, — и безоружность его неотрывного, блестящего взгляда вызывала у меня жалость более острую, чем смутно видневшееся мне изувеченное нагое тело жертвы, его матери и моей жены. Я добежал до почтового ящика, посмотрел на дорогу. В этом месте дорога делала двойной вираж до подъема в гору, к почтовому ящику Шелкопфа, и на всем протяжении виража ничего не было видно. Только висела красноватая пыль, след недавно проехавшей машины. Я повернулся и уже хотел бежать к большому полю, как вдруг сзади меня окликнули по имени.

— Джой!

Ко мне шел Ричард. Я его раньше не видел за поворотом дороги. Он надел купленные вчера солнечные очки, и без глаз его лицо стало бесцветным и невыразительным, уменьшенным, рот, казалось, кривила саркастическая гримаса. Он повернулся и крикнул куда-то в пространство:

— Они вернулись!

— Где мама?

— Собирает ягоды.

По дороге к развалинам табачной сушилки он рассказывал:

— Ехала мимо машина, и в ней много каких-то типов, так мы присели в кустах, чтобы нас не видно было с дороги.

Нависшие облака поредели, и под ногами у нас приплясывали мелкие полупрозрачные тени.

Пегги стояла в кустах ежевики, так что видны были только голые руки и плечи, и безмятежно рвала ягоды, выбирая самые сочные, самые крупные, поближе к стене с облупившейся штукатуркой. Точно грациозная самочка одной со мною породы мирно паслась в солнечной рощице. Подойдя ближе, я заметил, что на ней только лифчик от бикини, узкая полоска ткани в горошек, а дальше ее обтягивали синие эластиковые брюки, подделка под рабочий костюм; но это ничуть мне не испортило впечатления от любимого тела, изгибавшегося среди колючих веток; напротив, в этом обличье кентавра она — моя горожанка-жена, детище театральных фойе и автоматических лифтов, — казалась вполне естественной, и легко было поверить в ее

готовность отдать себя ферме.

— Я, кажется, сделала глупость, — сказала она мне. — По дороге ехала машина, набитая какими-то подозрительными субъектами, и я нырнула в кусты, а это, по-моему, был ядовитый сумах.

— С такими блестящими листьями, по три на одном черенке?

Она оглянулась.

— Ох господи, да. Теперь у меня все тело покроется сыпью.

— Надо тебе опять вымыться желтым мылом. Но так или иначе — пойдем домой. У матери какой-то припадок.

— Не может быть, Джой! Что-нибудь серьезное?

— Не пойму сам. Может быть, ты лучше разберешься.

Ричард спросил:

— А ты позвонил, чтобы приехала «скорая помощь»?

Я ответил ему:

— Я не знаю, куда звонить. Понятия не имею, как тут вызывают «скорую помощь».

Пегги сказала:

— Не разводите панику.

Но ее лицо, выглядывавшее из распущенных, растрепавшихся волос, ясно показывало, что она и сама испугана не меньше нас. Осторожно она высвободилась из кустов, высоко подняв дуршлаг, до половины наполненный ежевикой. Ричард, не дожидаясь, побежал вперед; я знал, какое у него сейчас ощущение под ложечкой. Где-то кончался праздник, и он боялся опоздать и боялся поспеть вовремя. Пегги шла со мной рядом; она не стала противиться, когда, зайдя за конюшню, где нас не видно было из окон дома, я дотронулся до ее влажного затылка и повел пальцы дальше вдоль спины, туда, где линия позвоночника, изгибаясь, уходила под брюками вниз. Длинный трепетный этот изгиб я читал, как живую повесть о скорби — так иногда художник-абстракционист, из царства отвлеченности возвращаясь к природе, пишет небо неправдоподобно красного цвета, цвета земли — и все же наш глаз узнает в нем небо.

Пегги сразу же поднялась наверх, побыла там некоторое время и, вернувшись, сказала, что мать чувствует слабость, но разговаривает спокойно и ласково. Она приняла таблетки и легла в постель; удушье уже не мучит ее, а вот боль в плече распространилась почти на весь левый бок. Они с Пегги решили, что я должен позвонить доктору Граафу, хотя он, по всей вероятности, сейчас в церкви. Доктор был менонитом. Пегги послала Ричарда отнести матери ягоды, а я подошел к телефону, который стоял на окне, обращенном к конюшне. В телефонной книжке было целых полстолбца Граафов, но доктор Грааф только один. Его номер не отвечал. Слушая звонки в трубке, я смотрел на конюшню, выглядевшую как-то зловеще обкорнанной без навеса, хоть он и не слишком ее украшал, и я вдруг увидел в ней образ моих родителей, раньше и теперь, после смерти отца. С той стороны, где когда-то был навес, открылась часть луга и большой куст сумаха, на котором часть листьев преждевременно покраснела, как будто яд просочился в каждый отдельный листок, — а

телефон все звонил и звонил без ответа, наверху засмеялся Ричард, потом голос матери мягко пробрался по краю еще не отзвучавшей шутки. Пегги отбросила со лба волосы и принялась за стряпню. В сарайчике залаяли собаки.

Я вышел на крыльцо, снял со вбитого в столб гвоздя два собачьих поводка, наращенных веревкой, — они там висели по соседству с жестяной кружкой, из которой мы пили воду. Я вошел в сарайчик и прицепил поводки к ошейникам собак, радостно запрыгавших вокруг меня. Щенку разрешалось бегать без поводка. Собаки, опустив нос и прижав уши, потащили меня через фруктовый сад. Они так рвались вперед, что ошейники то и дело впивались им в горло под встопорщившейся от удовольствия шерстью, и они давились и кашляли. Веревка, которую я намотал себе на руку, натягиваясь, больно терла мне кожу, и рука в этом месте горела. У шеренги подсолнухов собаки напали на чей-то след и с такой силой рванулись по этому следу, что я вынужден был припустить бегом. Разлапую темную зелень клубники на огороде глушили разросшиеся лопухи, подорожник и молочай. Земля, вывороченная вчера мотыгой Пегги, посветлела и запеклась на солнце. Напрягая тугие мышцы, собаки тащили меня дальше, к большому полю, где трактор, разрыв норки всякой полевой твари, создал для них новый, приманчивый мир.

Вся схема моего вчерашнего движения по полю была аккуратно вычерчена уже подсыхающими рядами скошенной травы. А стерня снова пестрила головками цветов — тех, что не попали под нож косилки, и тех, что только сегодня родились на свет. Цветы — лучшая реклама, подумал я, и тут же мне пришло в голову, что можно использовать эту мысль в моей работе. Щенок спугнул бабочку; полетели уже две бабочки — она сама и ее тень.

Наши тени были по-полднневному коротки. В небе, точно приступы боли, набегали тусклые облака и сразу же таяли, разлетались бесформенными хлопьями, как смятое войско, как последние проблески угасающей жизни. Мне хотелось вернуться в дом, я боялся, что собаки увлекут меня к самым дальним границам фермы. Но когда мы миновали пригорок за большим полем, откуда в зимние дни виден серебряный шпиль олтонской судебной палаты, они остановились по первому окрику и покорно затрусили обратно, будто продолжая проложенный в ежедневных прогулках с моей матерью маршрут — вдоль живых изгородей сумаха и айланта, по нижнему краю большого поля, мимо развалин табачной сушилки, через дорогу и во двор дома. Еще несколько минут веселой возни и притворного сопротивления, и вся тройка была благополучно водворена в свой сарайчик. В лохматых штанишках задних собачьих лап запутались колючки репейника и какие-то зеленые семена, похожие на сточенные наконечники стрел. Глянув вниз, я увидел, что природа и меня использовала для своих целей: манжеты моих брюк тоже несли на себе семена.

Дома Ричард читал, Пегги наготовила сандвичей с колбасой и теперь разогревала грибной суп. Стол был накрыт на три прибора.

— Как она там?

Ответил Ричард:

— Сказала, что ягоды очень вкусные, а обедать она не хочет.

Я посмотрел на книгу, которую он читал; это был мой Вудхауз.

— А не рассердится она, если мы позовем доктора?

— Чего тут сердиться? И ведь она же сама сказала.

— Очень это на нее непохоже.

Пегги, внимательно следившая за молоком, которое лила в суп, оглянулась на мои слова;

глаза у нее потемнели. Мне вспомнилось неожиданное замечание матери о мужчинах, которые ищут себе оправдания, причинив женщине горе.

— Иди, спроси сам, — сказала она.

Поднимаясь по лестнице, я почувствовал в кармане своего пиджака (я так и не переоделся после церкви) что-то жесткое и вытащил сложенную церковную программку. Такая привычка была у отца — сложить программу и сунуть ее в карман, вместо того чтобы выбросить после богослужения. Он вообще не любил ничего выбрасывать, по бессмысленной своей привычке, раздражавшей меня, когда я был мальчишкой. Дойдя до верхней площадки, я положил ненужную программу на кучу журналов, которые там дожидались своей участи.

— Мама?

Мать спала, высоко лежа на двух подушках, выпростав из-под одеяла голую руку. Сверху я увидел, что голова у нее совсем седая, а раскрытая ладонь, касавшаяся дуршлага с ежевикой — Пегги все-таки набрала много зеленой, — сохраняла беспомощную детскую пухлость. Во сне резче обозначились складки, идущие от крыльев носа к углам рта, и на щеках, незаметные раньше, пролегли параллельно еще две морщины. Впервые я в ней увидел старуху. До сих пор она всегда была для меня лишь погрузневшим двойником быстрой молодой матери, что когда-то, обгоняя отца, бежала под дождем от конюшни к дому. Мне казалось, что та, другая, и сейчас скрыта в ней, что она прячет ее от меня в наказание за мои проступки. Но, спящая, она ускользнула от моей цепкой, обидчивой памяти и, сама того не зная, переселилась в далекий край, в холодную арктику старости. Ее рука, удивительно гладкая и нежная на сгибе локтя, матово серебрилась в лучах солнца, которое лилось в окно, высекая золотые искры из привядших листьев герани на подоконниках. Я подумал о том, как мать заботливо поливает и «хранит» эту герань в комнате, давно уже переставшей служить ей спальней. Сколько же их здесь, кругом, на всем обширном пространстве фермы, — следов ее оплодотворяющей землю заботы, которая уйдет в эту землю вместе с ней. Смерть вдруг показалась мне чем-то неглавным, изъясном, просмотренным при покупке фермы, мелким недочетом, увеличившимся с годами. Мать ровно, негромко всхрапывала во сне; рука ее бессознательно шевелилась на одеяле, и я убрал дуршлаг с ежевикой, чтобы ягоды не рассыпались от случайного толчка. Я склонялся над матерью, всматривался в ее неподвижное тело, как однажды на пляже всматривался в нелепый контур, оставшийся на песке, где я лежал и мои дети палочкой обвели всю мою фигуру. Этот контур, не наполненный живой вибрацией плоти, показался мне тогда карикатурно малым.

Я прошел в нашу спальню и переоделся. Увидя меня опять в старом отцовском комбинезоне, Пегги спросила:

— Идешь косить?

— Нельзя, ты забыла? Сегодня воскресенье.

— Но мы все-таки уедем сегодня или нет?

— Не знаю, можно ли ее оставить.

— Почему ты не звонишь доктору?

— Боюсь.

— Что за ребячество!

На этот раз в трубке послышался женский голос — жена доктора Граафа. По тону можно

было догадаться, что телефонный звонок оторвал ее от воскресного обеда. Слышно было, как она повторяет мои слова доктору, потом она передала мне ответ. Доктор сказал, что будет в половине третьего. А пока, если мать спит, пусть спит.

Мы сели обедать. Ричард спросил, когда мы поедем домой.

— Ты уже хочешь домой? А мне казалось, тебе нравится на ферме.

— Тут нечего делать.

— Моя мать очень огорчилась бы, если б услышала это.

— А она слышала. Я ей сказал, и она со мной согласилась. Она говорит, ей тут нравится, потому что она не любит что-нибудь делать.

— Уехать мы не можем, пока доктор не скажет, что с ней. А там, может быть, придется мне вас с мамой отправить домой, а самому здесь остаться.

Уже мое сердце раскрывалось, чтобы вобрать в себя ферму от края до края, до отдаленных закоулков, до межевых столбов; скоро наступит осень — сквозные деревья, чистое небо, густые россыпи звезд по ночам, астры повсюду, первый морозец.

Пегги сказала:

— Всего разумнее поселить в доме квалифицированную медсестру.

Я сказал:

— Может быть, Джоан согласится. Ей нужна работа. А жалованье пошло бы в счет алиментов, которые я должен платить.

— Это что, острота?

— А ты представляешь себе, сколько стоит квалифицированная медсестра?

— Гораздо меньше, чем я, — это ты хочешь сказать?

— Во много раз меньше. Но все-таки порядочно.

Ричард сказал:

— Можно условиться, что мы каждый вечер будем звонить в определенный час и узнавать, здорова ли она.

— Еще лучше установить прямую телевизионную связь: повернул выключатель — и видишь, что тут и как.

— В некоторых детских больницах это уже делается, я где-то читал.

— Виноват. Опять я отстал от действительности.

Пегги сказала:

— Оставь Ричарда в покое. Можешь срывать свою злость на мне, а его не трогай.

— Вот те на! А я думал, что мы все — одно юридическое лицо. Ты, я, Ричард, декан Маккейб и еще тридцать или сорок особ мужского пола без особых примет.

Она потянулась через стол, чтобы дать мне пощечину, но я перехватил ее руку и выкрутил

так, что ей пришлось сесть на место. Эта короткая стычка, отраженная в округлившихся глазах Ричарда, как ни странно, сработала на нее и против меня. Хоть на миг я как будто выплыл, меня сразу же залило, захлестнуло напором ее пустоты. Сжимая еще болевшую руку в другой руке, она отчеканила:

— Давай, Джой, раз и навсегда договоримся об одном. Я больше не желаю, чтобы ты мне тыкал в лицо Джоан. Ты сам сделал выбор. Я тебя ни к чему не принуждала, я старалась быть честной и справедливой, но ты сам сделал выбор. Если можешь сказать мне что-нибудь разумное, говори, но не обращай со мной, как с той собакой, которую ты дразнил в детстве. Не заставляй меня снова и снова заглядывать в трубу. Если я должна чем-то поступиться ради того, чтобы твоей матери был обеспечен хороший уход, — охотно поступлюсь; но я не Джоан, это с самого начала всем было ясно, и я об этом ничуть не жалею.

Мне сделалось совестно: ведь не ее вина, если она нечаянно заслонила вставшее передо мной на миг видение фермы —

уже моей фермы под осенним небом, с теплым запахом прелого листа, с пустынной ширью полей, с ласковой бесконечностью паутины оголенных веток. Я сказал: «Ладно, не глупи. Ты молодчина». Но то, что я не смог вместе с фермой увидеть и мою мать, почему-то показалось мне ее виной, преградой, созданной ею; и тягостное ощущение этой преграды не покидало меня вплоть до половины третьего, когда в дом вошел доктор Грааф, неся с собой запахи антисептики и кислой капусты.

Проводив доктора, мы все поднялись в комнату матери. Пегги и Ричард остались у дверей, а я подошел поближе. Был уже четвертый час, я мысленно видел воскресный поток машин, густеющий на автостраде. Мать полулежала в постели, седая ее голова темнела на белизне подушки. Она словно бы осунулась, кожа на лице была как бумажная — так бывает у человека, только что проснувшегося после долгого сна, чуть заметная усмешка кривила губы.

— Что он сказал

вам?

— Сказал, что, может быть, тебе стоит лечь в больницу.

— Надолго?

— Пока не уменьшится вероятность повторения таких приступов.

— А если она не уменьшится? Почему он не дает мне спокойно умереть здесь, где мое настоящее место? Здесь умерли мои родители, мой муж, и я тоже хочу умереть здесь. Больше мне ничего от этих стервятников-врачей не нужно. Я от своей земли никуда не пойду.

— Речь вовсе не идет о смерти, мама. Речь идет о твоём удобстве и о том, чтобы ты поскорей поправилась.

— Не притворяйся.

Она, не мигая, смотрела мне в глаза; взгляд ее, очень прямой, очень ясный, требовал только одного — правды. Но для меня, в мои тридцать пять, это была еще чуждая стихия. В уступку мне, а быть может, поддавшись старой привычке, она изменила тон.

— Душа у меня просится на покой. Так и рвется вон из тела.

Я подхватил ей в лад:

— Нехорошо думать только о себе, мама. Подумай о том, что станут говорить про меня. И так уж, судя по тому, как доктор Грааф со мною прощался, мне кажется, он не слишком высокого мнения о моих сыновних чувствах.

— Ну, знаешь ли, — сказала она, — соседи всегда были о Хофстеттерах определенного мнения, так что теперь уж поздно беспокоиться на этот счет. Чудаки и злыдни — вот как о нас всегда говорили в округе. Отец твой — другое дело; он тут был пришлый, и они могли относиться к нему немножечко свысока, за это его любили; но нам с тобой, Джой, уже ничего не поможет.

— Во всяком случае, деньги пусть для тебя роли не играют.

Это должно было показать ей, что все будет так, как она хочет, и я даже благодарен ей за то, что она сама настаивает на том, чего я не решаюсь предложить.

Она сделала нетерпеливое движение рукой.

— Как же это можно, чтобы деньги не играли роли? Деньги всегда играют роль — верно, Пегги?

Пегги подошла ближе.

— Хотите, чтобы мы побыли здесь?

— Нет, Пегги, спасибо. Я хочу, чтобы вы уехали в Нью-Йорк, туда, где ваше настоящее место. Вы все трое исполнили свой долг, порадовали старуху, и не ваша вина, если радость уже слишком обременительна для ее сосудов.

Пегги сказала:

— Но вы же не можете остаться одна — беспомощная, в постели.

— Вовсе я не беспомощна. Полежу пока, а понадобится — встану. Шелкопфы всегда посматривают, идет ли у меня дым из трубы, и если увидят, что не идет, сейчас же явятся узнать, что случилось. Да и собаки в случае чего поднимут лай. Как это говорится в пословице? Сам стлал постель, сам и спи в ней. — Она похлопала по одеялу рукой. — Да уж, кто-кто, а я себе стлала постель сама.

Она засмеялась, и в коротком этом смешке мне послышалось тщеславие ее молодых лет, которое потом зачерствело и превратилось в гордыню.

Она повернулась к Ричарду.

— Приедешь ко мне еще, Ричард?

Он молча кивнул, замороженно глядя на нее блестящими карими глазами.

— Следующий раз постараюсь не ссорить тебя с матерью, — пообещала она. — Не хочу больше быть вредной старухой.

— Мы уедем позже, когда стемнеет, — сказал я, почти выкрикнул от напряжения. Каждой клеточкой своего существа я теперь стремился уехать отсюда, вырваться из ее болезни, из ее спиралью закручивающейся покорности.

Взмахом почти квадратной руки, короткопалой и натруженной, как у мужчины, она отвела мое предложение.



— Насчет покоса не беспокойся, Джой, — сказала она. — Сэмми выберет время и докончит. Главное ты сделал, остались пустяки. Он ведь очень добрый, — добавила она, повернувшись к Пегги. — Должно быть, оттого у меня всегда был соблазн навалить на него побольше работы.

— Он добрый, — повторила Пегги.

И вдруг она улыбнулась мне, улыбнулась от души, как тогда во сне или как при первом нашем знакомстве, в чужой большой квартире, где по стенам висели абстракционистские холсты, словно окна, за которыми происходит распад мира. Я себя вдруг почувствовал затерянным, ненужным, моя жизнь шла как будто не по тому руслу. Помню, она стояла и разговаривала с Джоан; когда я подошел, они обе повернулись мне навстречу, Джоан в голубом, Пегги в желтом, цвета спелой пшеницы.

Это мой муж, сказала Джоан, и Пегги по-мужски, энергично вонзила свою руку в мою и улыбнулась широко, во весь рот, как будто не веря.

— Хорошая у тебя улыбка, Пегги, — сказала мать. — Если тебя хватит на то, чтобы еще раз приехать, и если я доживу до этого, снимись и привези мне свою карточку.

Нью-Йорк, город, вечно сам в себе отраженный, живая память моей детской мечты об избавлении, звал меня, торопил меня в путь — на проселок, на шоссе, на автостраду. Я стыдился своего стремления и бессилён был его превозмочь. Мать снова повернулась ко мне; глаза ее помолодели от слез, в которых мелькала тень мольбы.

— Джой, — сказала она. — Когда будешь продавать мою ферму, смотри не продешеви. Возьми настоящую цену.

Начиналась выработка условий сделки; это требовало осмотрительности. Ответ нужно было дать привычным языком, которым мы только и могли разговаривать друг с другом — уклончивым и полушутливым, позволяющим с заговорщическим тактом умолчать о главном и словно бы не вносить никаких поправок в прошлое.

— Твою ферму? — переспросил я. — А мне всегда казалось, что это наша ферма.

## Примечания

1

Царица ночи

(нем.).